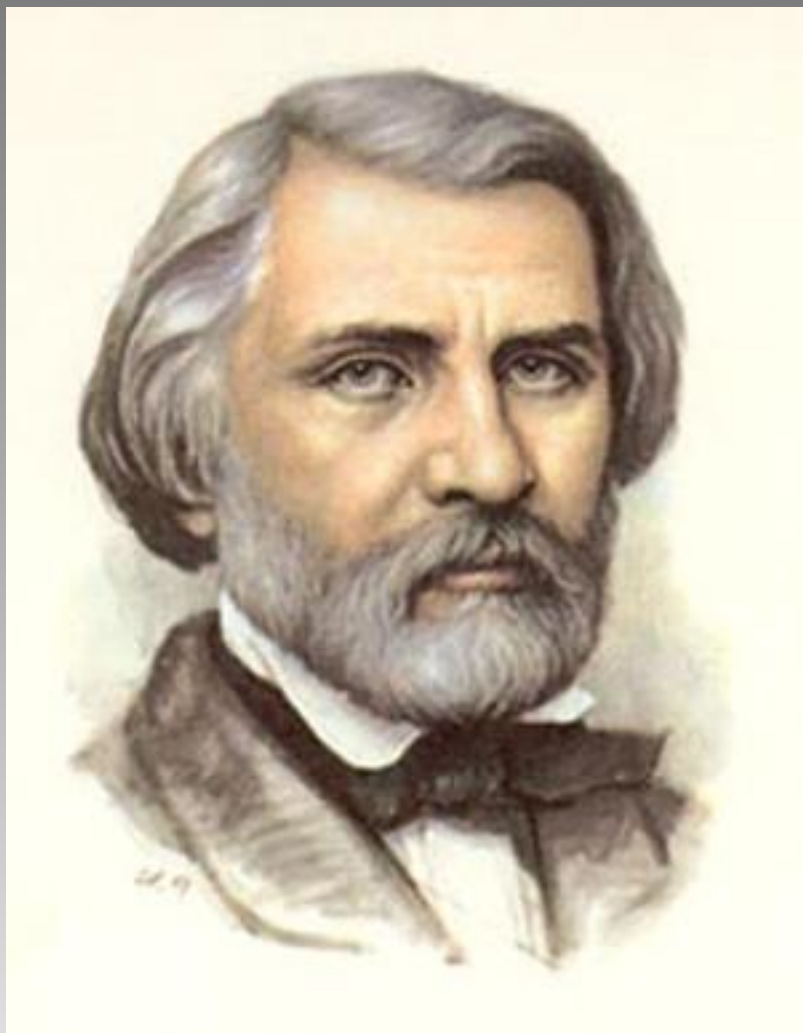


Тема урока

1. Сведения из биографии И.С.Тургенева
2. Роман «Отцы и дети»



Иван Сергеевич Тургенев

1818-1883



И.С. Тургенев родился в г. Орле. Детство его прошло в Спасском - Лутовинове Орловской губернии, в родовом имении матери Варвары Петровны . В усадьбе была великолепная библиотека из сочинений русских, немецких и французских классиков XVIII века, которые с упоением читал мальчик. В усадьбе постоянно устраивали спектакли, в которых участвовали хозяева и их гости.

Мать – Варвара Петровна



- Она была фактически главой дома, — происходила из богатой провинциальной помещичьей семьи Лутовиновых. Унаследовав от Лутовиновых их жестокость и деспотизм, Варвара Петровна была озлоблена и своей личной судьбой.
- Жизнь дворовых для неё не стоила и гроша. Это была властная и деспотичная женщина.

Отец Тургенева, Сергей Николаевич

Отец Тургенева принадлежал к известному роду Тургеневых. Он участвовал в Бородинском сражении, где был ранен и за храбрость награжден Георгиевским крестом. Вернувшись в 1815 году из заграничного похода в Орел, он женился на Варваре Петровне Лутовиновой, осиротевшей и засидевшейся в девицах богатой невесте, у которой в одной лишь Орловской губернии было 5 тысяч душ крепостных крестьян.





- Дети, Николай и Иван, росли на попечении "гувернеров и учителей, швейцарцев и немцев, доморощенных дядек и крепостных нянек".
- С переездом семьи в Москву в 1827 будущий писатель был отдан в пансион, провел там около двух с половиной лет. Дальнейшее образование продолжал под руководством частных учителей. С детства он знал французский, немецкий, английский языки.



- Осенью 1833, не достигнув пятнадцатилетнего возраста, поступил в Московский университет, а в следующем году перевелся в Петербургский университет, который окончил в 1936 по словесному отделению философского факультета.

**Тургенев в возрасте 12 лет.
1830 год**

- В мае 1838 едет в Берлин слушать лекции по классической филологии и философии. Познакомился и сдружился с Н.Станкевичем и М.Бакуниным, встречи с которыми имели гораздо большее значение, чем лекции берлинских профессоров. Провел за границей более двух учебных лет, сочетая занятия с продолжительными путешествиями: объездил Германию, побывал в Голландии и Франции, несколько месяцев жил в Италии.



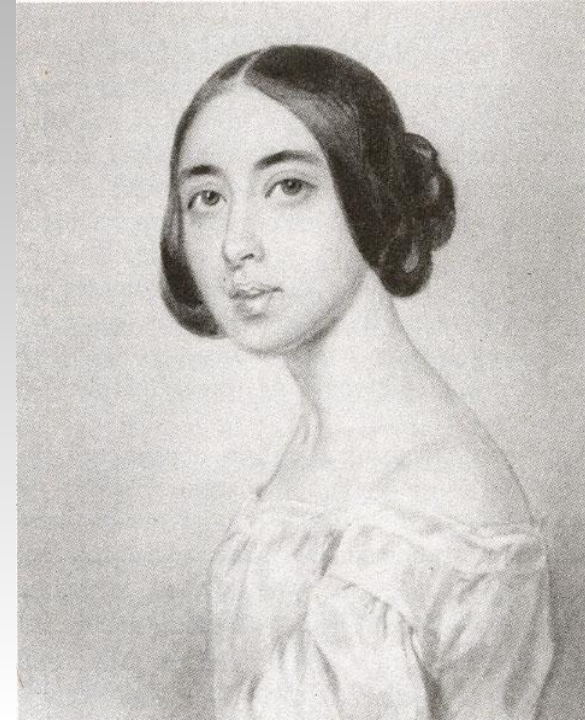
**Тургенев в возрасте 20 лет.
1838 год**

- Вернувшись в 1841 на родину, поселился в Москве, где готовился к магистерским экзаменам.
- В 1842 г. Тургенев выдержал в Петербургском университете экзамен на степень магистра философии, в этом же году совершает поездку в Германию, по возвращении служит в Министерстве Внутренних Дел чиновником особых поручений (1842 – 1844 гг.) .
Общественные и литературные взгляды Тургенева определялись в этот период в основном влиянием Белинского, с которым он познакомился в конце 1842 г.
- Тургенев публикует свои стихотворения, поэмы, драматические произведения, повести. Критик направлял его работу своими оценками и дружескими советами.



В 1843 г. познакомился с французской певицей Полиной Виардо, дружеские отношения с которой продолжались всю его жизнь, оставив глубокий след в творчестве

Тургенева. Привязанность его к ней и объясняет долгое пребывание Тургенева за границей.



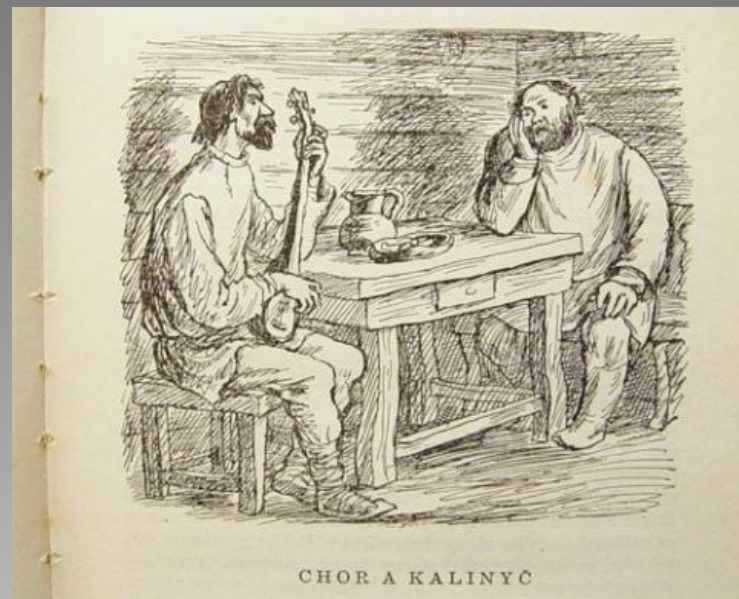


**Тургенев в возрасте 26 лет.
1844 год**

1841—1847г.г. - время столкновения молодого романтика с реалиями русской жизни.

Высокая оценка критикой его поэмы «Параша» (1843) окончательно определила жизненный путь Тургенева, выбор им писательской стези. Тургенев публикует драматическую поэму «Разговор» (1844), повесть в стихах «Андрей» (1845), сатирическую поэму «Помещик» (1845), пробует свои силы в драме («Неосторожность», 1843; «Безденежье», 1846), создает первые прозаические повести: «Андрей Колосов» (1843), «Три портрета» (1845), «Бретер» (1846), «Петушков» (1847). Тургенев начинает развенчивать в них романтиков.

- В январе 1847 года в культурной жизни России и творческой судьбе Тургенева произошло значительное событие. В журнале «Современник



был опубликован очерк Тургенева «Хорь и Калиныч», успех которого превзошел все ожидания и побудил к созданию новой книги под названием «Записки охотника».



- С 1850 года И.С. Тургенев в качестве автора и критика сотрудничает в "Современнике", ставшем своеобразным центром русской литературной жизни.
- Под впечатлением смерти Н. Гоголя в 1852 публикует некролог, запрещенный цензурой. За это подвергается на месяц аресту, а затем высылается в свое имение под присмотр полиции без права выезда за пределы Орловской губернии.



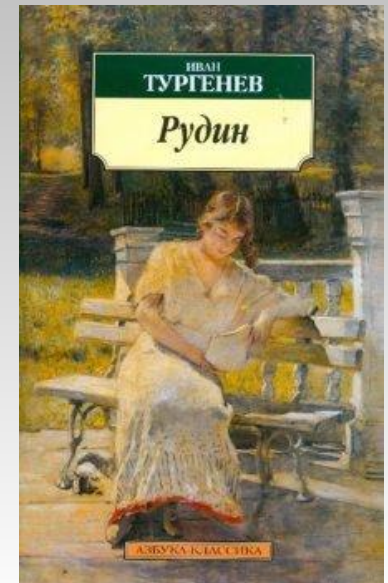
В 1852г Тургенев, нарушая запрет цензуры, публикует некролог на смерть Н. Гоголя. За это писатель подвергается на месяц аресту, а затем высылается на 1,5 года в свое имение село Спасское под надзор полиции .

В этот период он пишет повесть "Муму" (опубликована в 1854 г.).

В период Спасской ссылки (до конца 1853) Тургенев продолжает работу над циклом повестей антикрепостнического содержания.

- Свой первый роман «Рудин» Тургенев написал в 1855, на пороге эпохи «великих реформ». Его герои относятся к интеллигенции, которая увлекалась философией, мечтала о светлом будущем России, но практически ничего не могла для этого сделать, а главный герой во многом автобиографичен: он получил хорошее философское образование в Берлинском университете. Рудин блестящий оратор, он покоряет общество блестящими философскими импровизациями о смысле жизни, о высоком назначении человека, но в обыденной жизни он не умеет выясняться ясно и точно, плохо чувствует окружающих.

Это роман о несостоятельности дворянского идеализма. «Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает, и это точно большое несчастье. Россия без каждого из нас может обойтись, но никто из нас без нее не может обойтись».



Тургенев пытается найти героя своего времени в дворянском обществе в романе «Дворянское гнездо, написанном в 1858г. Тургенев резко критикует дворянскую беспочвенность - отрыв сословия от родной культуры, от народа, от русских корней.

Тургенев опасался, что дворянская беспочвенность может причинить России много бед, предостерегал о катастрофических последствиях тех реформ, которые «не оправданы ни знанием родной земли, ни верой в идеал».

Лаврецкий, главный герой, в финале романа приветствует молодое поколение: «Играйте, веселитесь, растите молодые силы» В то время такой финал воспринимался как прощание Тургенева с дворянским периодом русского освободительного движения и приходом ему на смену нового, где главными героями становятся разночинцы. Это - люди дела, борцы за просвещение народа. Их умственное и моральное превосходство перед представителями дворянской интеллигенцией неоспоримо. Тургенева называли «летописцем русской интеллигенции».

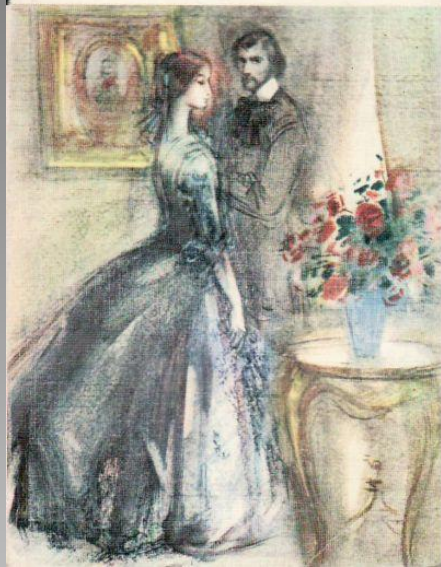




У героя романа «Накануне»(1860г.) Дмитрия Инсарова полностью отсутствует противоречие между словом и делом. Он занят не собой, все его помыслы устремлены на достижение высшей цели: освобождение родины, Болгарии. Даже его любовь оказалась несовместимой с этой борьбой. Общественная проблематика - на первом плане в романе. «Заметьте, - говорит Инсаров, - последний мужик, последний нищий в Болгарии и я - мы желаем одного и того же. У всех у нас одна цель».

И.С.Тургенев

НАКАНУНЕ · ОТЦЫ И ДЕТИ
СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИР



С Тургеневым в литературу вошел поэтический образ спутницы русского героя, «тургеневской девушки» — Натальи Ласунской, Лизы Калитиной, Елены Стаховой, Марианны. Вместе с образом «тургеневской девушки» входит в произведения писателя образ «тургеневской любви». Все герои Тургенева проходят испытание любовью.





Роман «Отцы и дети» (1862 г.) насыщен демократической идейностью. В нем Тургенев изобразил человека в многообразных и сложных связях с другими людьми, с обществом, затрагивая и социальный, и нравственный конфликты. В произведении сталкиваются не только представители разных социальных групп - либералы и революционные демократы, но и разные поколения.

Центральное место в романе занимает конфликт идейных противников:

Павла Петровича Кирсанова – представителя «отцов», и Евгения Базарова – представителя «детей».

В романе он характеризуется как нигилист.

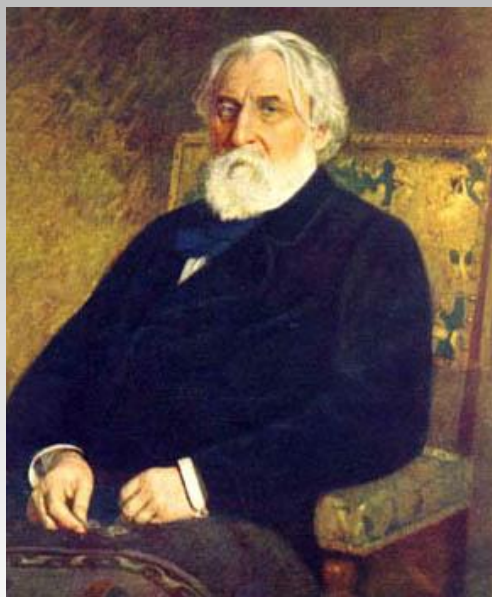
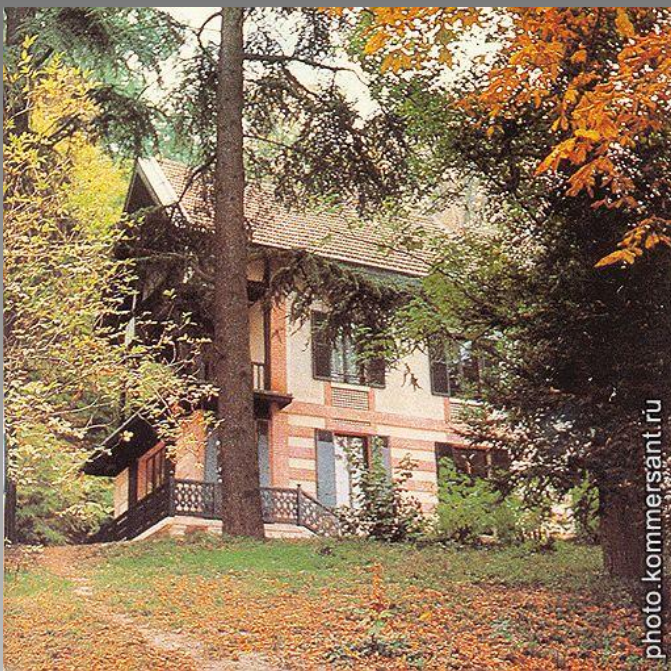


- Современники остро отреагировали на появление романа. Консервативная печать обвиняла Тургенева в заискивании перед молодежью демократическая – упрекала в клевете на молодое поколение. После этого для Тургенева наступил период сомнений и разочарований. Раздумья о народе и сути русского



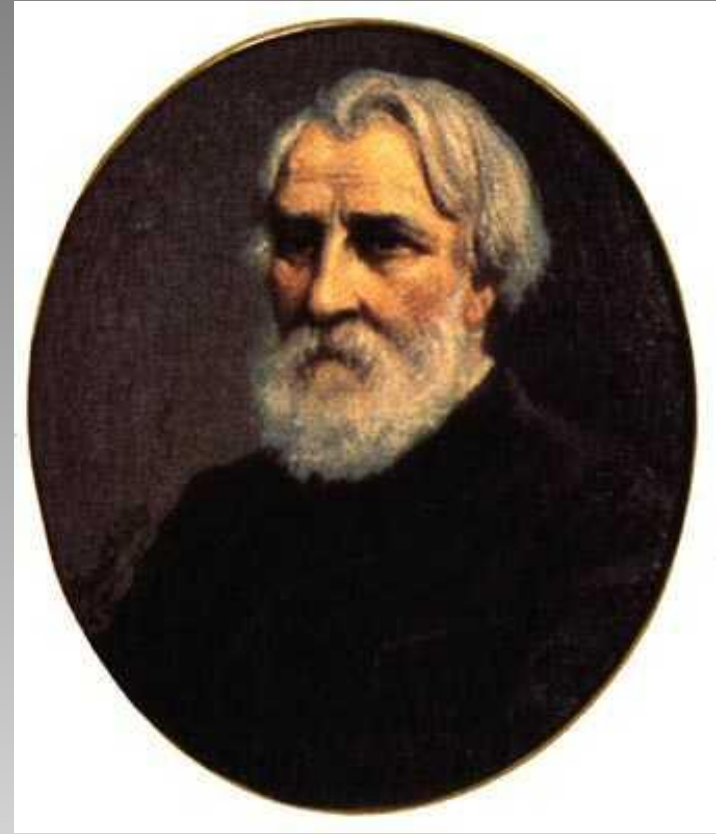
характера в повести "Степной король Лир" (1870 г.) приводят его к созданию романов "Дым" (1867 г.) и "Новь" (1877 г.) – Тургеневым затронута проблема начавшихся реформ в России, когда "новое принималось плохо, старое – всякую силу потеряло". Здесь изображена жизнь русских за границей,

народническое движение в России.



- С 1863 писатель поселился вместе с семьей Виардо в Баден-Бадене. Тогда же стал сотрудничать с либерально-буржуазным "Вестником Европы", в котором были опубликованы все его последующие крупные произведения, в том числе и последний роман "Новь" (1876). Следуя за семьей Виардо, переехал во Францию, где оставался до конца своей жизни, проводя зимы в Париже, а летние месяцы за городом, в Буживале, и совершая каждую весну непродолжительные поездки в Россию.

- Итогом творчества Тургенева стал оригинальный цикл «Стихотворения в прозе». В поэтически отточенной форме здесь отразились ведущие мотивы его творчества. Цикл открывается стихотворением «Деревня», а завершается гимном русскому языку с крылатым афоризмом:
«Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу».



- Последние годы жизни Тургенева были озарены радостным сознанием того, что Россия высоко ценит его литературные заслуги. Приезды писателя на родину в 1879 и 1880 превратились в шумные чествования его таланта. Но с янв. 1882 начались испытания. Мучительная болезнь приковала Тургенева к постели.



- За несколько дней до рокового исхода Тургенев завещал похоронить себя на Волковом кладбище в Петербурге.
- 22 августа (3 сентября н. с.) 1883г. Тургенев умер в Буживале. Согласно завещанию писателя, тело его было перевезено в Россию и похоронено в Петербурге.



2. Отцы и дети

Посвящается памяти Виссариона Григорьевича Белинского

I

-- Что, Петр, не видать еще? -- спрашивал 20-го мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоянного двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.

Слуга, в котором все: и бирюзовая сережка в ухе, и напoмаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и отвечивал: "Никак нет-с, не видать".

-- Не видать? -- повторил барин.

-- Не видать, -- вторично отвечивал слуга.

Барин вздохнул и пошел по шоссе.

Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом.

Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в пятнадцати верстах от постоянного двора хорошее имение в двести душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел "ферму", -- в две тысячи десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подбострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, из фамилии Колязиных, в девицах Agathe, а в генеральшах Агафоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу "матушек-командирш", носила пышные чепцы и шумные шелковые платья,

в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла, -- словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович -- хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки -- должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался "хроменьким". Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. Кстати, брат его о ту пору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем, на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные "выкрутасами" слова:

"Пётр Кирсанов, генерал-майор". В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом, и в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в английский клуб, но внезапно умер от удара. Агафоклея Кузьминишна скоро за ним последовала: она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни; тоска отставного существования ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел, еще при жизни родителей и к немалому их огорчению, влюбиться в дочку чиновника Преполовенского, бывшего хозяина его квартиры, милостивую и, как говорится, развитую девицу: она в журналах читала серьезные статьи в отделе "Наук". Он женился на ней, как только минул срок траура, и, покинув министерство уделов, куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своею Машей сперва на даче около Лесного института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире, с чистою лестницею и холодноватою гостиною, наконец -- в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын

Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичьим двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а Аркадий рос да рос -- тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В 47-м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, поседел в несколько недель; собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться... но тут настал 48-й год. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет; прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог, -- и вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного: он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата. Слуга, из чувства приличия, а может быть, и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку.

Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка: крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло; из полутемных сеней постоянного дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. "Сын... кандидат... Аркаша..." -- беспрестанно вертелось у него в голове; он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница-жена... "Не дождалась!" -- шепнул он уныло... Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес...

-- Никак они едут-с, -- доложил слуга, вынырнув из-под ворот.

Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей; в тарантасе мелькнул околыш студентской фуражки, знакомый очерк дорогого лица...

-- Аркаша! Аркаша! -- закричал Кирсанов, и побежал, и замахал руками... Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата.

II

-- Дай же отряхнуться, папаша, -- говорил несколько сиплым от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки, -- я тебя всего запачкаю. -- Ничего, ничего, -- твердил, умиленно улыбаясь, Николай Петрович и раза два ударил рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто. -- Покажи-ка себя, покажи-ка, -- прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к постоялому двору, приговаривая: "Вот сюда, сюда, да лошадей поскорее". Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына; он словно потерялся немного, словно робел. Аркадий остановил его. -- Папаша, -- сказал он, -- позволь познакомиться тебя с моим добрым приятелем, Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас. Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в длинном балахоне с

кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал. -- Душевно рад, -- начал он, -- и благодарен за доброе намерение посетить нас; надеюсь... позвольте узнать ваше имя и отчество? -- Евгений Васильев, -- отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.

-- Надеюсь, любезнейший Евгений Васильич, что вы не соскучитесь у нас, -- продолжал Николай Петрович. Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа.

-- Так как же, Аркадий, -- заговорил опять Николай Петрович, обращившись к сыну, -- сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите? -- Дома отдохнем, папаша;

вели закладывать. -- Сейчас, сейчас, -- подхватил отец. -- Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее. Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами. -- Я здесь с коляской, но и для твоего тарантаса есть тройка, -- хлопотливо говорил Николай Петрович, между тем как Аркадий пил воду из железного ковшика, принесенного хозяйкой постоянного двора, а Базаров закурил трубку и подошел к ямщику, отпрягавшему лошадей, -- только коляска двухместная, и вот я не знаю, как твой приятель... -- Он в тарантасе поедет, -- перебил вполголоса Аркадий. -- Ты с ним, пожалуйста, не церемонься. Он чудесный малый, такой простой -- ты увидишь. Кучер Николая Петровича вывел лошадей. -- Ну, поворачивайся, толстобородый! -- обратился Базаров к ямщику. -- Слышь, Митюха, -- подхватил другой тут же стоявший ямщик с руками, засунутыми в задние прорехи тулупа, -- барин-то тебя как прозвал? Толстобородый и есть. Митюха только шапкой потрянул и потащил вожжи с потной коренной. -- Живей, живей, ребята, подсобляйте, -- воскликнул Николай

Петрович, -- на водку будет! В несколько минут лошади были заложены; отец с сыном поместились в коляске; Петр взобрался на козлы; Базаров вскочил в тарантас, уткнулся головой в кожаную подушку -- и оба экипажа покатили.

III

-- Так вот как, наконец ты кандидат и домой приехал, -- говорил Николай Петрович, потрогивая Аркадия то по плечу, то по колену. -- Наконец! -- А что дядя? здоров? -- спросил Аркадий, которому, несмотря на искреннюю, почти детскую радость, его наполнявшую, хотелось поскорее перевести разговор с настроения взволнованного на обыденное. -- Здоров. Он хотел было выехать со мной к тебе навстречу, да почему-то раздумал. -- А ты долго меня ждал? -- спросил Аркадий. -- Да часов около пяти. -- Добрый папаша! Аркадий живо повернулся к отцу и звонко поцеловал его в щеку. Николай Петрович тихонько засмеялся. -- Какую я тебе славную лошадь приготовил! -- начал он, -- ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями. -- А для Базарова комната есть? -- Найдется и для него. -- Пожалуйста, папаша, приласкай его.

Я не могу тебе выразить, до какой степени я дорожу его дружбой. -- Ты недавно с ним познакомился? -- Недавно. -- Тот прошлую зимой я его не видал. Он чем занимается? -- Главный предмет его -- естественные науки. Да он все знает. Он в будущем году хочет держать на доктора. -- А! он по медицинскому факультету, -- заметил Николай Петрович и помолчал. -- Петр, -- прибавил он и протянул руку, -- это никак наши мужики едут? Петр глянул в сторону, куда указывал барин. Несколько телег, запряженных разнузданными лошадьми, шибко катились по узкому проселку. В каждой телеге сидело по одному, много по два мужика в тулупах нараспашку. -- Точно так-с, -- промолвил Петр. -- Куда это они едут, в город, что ли? -- Полагать надо, что в город. В кабак, -- прибавил он презрительно и слегка наклонился к кучеру, как бы ссылаясь на него. Но тот даже не пошевелился: это был человек старого закала, не разделявший новейших воззрений. --хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем году, -- продолжал Николай Петрович, обращаясь к сыну. -- Не платят оброка. Что ты будешь делать? -- А своими наемными работниками ты

доволен? -- Да, -- процедил сквозь зубы Николай Петрович. -- Подбивают их, вот что беда; ну, и настоящего старания все еще нету. Сбрую портят. Пахали, впрочем, ничего. Перемелется -- мука будет. Да разве тебя теперь хозяйство занимает? -- Тени нет у вас, вот что горе, -- заметил Аркадий, не отвечая на последний вопрос. -- Я с северной стороны над балконом большую маркизу приделал, -- промолвил Николай Петрович, -- теперь и обедать можно на воздухе. -- Что-то на дачу больно похоже будет... а впрочем, это все пустяки. Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет! Право, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях! Да и небо здесь... Аркадий вдруг остановился, бросил косвенный взгляд назад и умолк. -- Конечно, -- заметил Николай Петрович, -- ты здесь родился, тебе все должно казаться здесь чем-то особенным... -- Ну, папаша, это все равно, где бы человек ни родился. -- Однако... -- Нет, это совершенно все равно. Николай Петрович посмотрел сбоку на сына, и коляска проехала с полверсты, прежде чем разговор возобновился между ними. -- Не помню, писал ли я тебе, -- начал Николай Петрович, -- твоя бывшая нянюшка, Егоровна,

скончалась. -- Неужели? Бедная старуха! А Прокофьич жив? -- Жив и нисколько не изменился. Все так же брюзжит. Вообще ты больших перемен в Марьине не найдешь. -- Приказчик у тебя все тот же? -- Вот разве что приказчика я сменил. Я решился не держать больше у себя вольноотпущенных, бывших дворовых, или по крайней мере, не поручать им никаких должностей, где есть ответственность. (Аркадий указал глазами на Петра.) Il est libre, en effet, {Он в самом деле вольный (*франц.*).} -- заметил вполголоса Николай Петрович, -- но ведь он -- камердинер. Теперь у меня приказчик из мещан: кажется, дельный малый. Я ему назначил двести пятьдесят рублей в год. Впрочем, -- прибавил Николай Петрович, потирая лоб и брови рукою, что у него всегда служило признаком внутреннего смущения, -- я тебе сейчас сказал, что ты не найдешь перемен в Марьине... Это не совсем справедливо. Я считаю своим долгом предварить тебя, хотя... Он запнулся на мгновение и продолжал уже по-французски. -- Строгий моралист найдет мою откровенность неуместною, но, во-первых, это скрыть нельзя, а во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет

отношений отца к сыну. Впрочем, ты, конечно, будешь вправе осудить меня. В мои лета... Словом, эта... эта девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал... -- Фенечка? -- развязно спросил Аркадий. Николай Петрович покраснел. -- Не называй ее, пожалуйста, громко... Ну, да... она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме... там были две небольшие комнатки. Впрочем, это все можно переменить. -- Помилуй, папаша, зачем? -- Твой приятель у нас гостить будет... неловко... -- Насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся. Он выше всего этого. -- Ну, ты, наконец, -- проговорил Николай Петрович. -- Флигелек-то плох -- вот беда. -- Помилуй, папаша, -- подхватил Аркадий, -- ты как будто извиняешься; как тебе не совестно. -- Конечно, мне должно быть совестно, -- отвечал Николай Петрович, все более и более краснея. -- Полно, папаша, полно, сделай одолжение! -- Аркадий ласково улыбнулся. "В чем извиняется!" -- подумал он про себя, и чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу. -- Перестань, пожалуйста, -- повторил он еще раз, невольно наслаждаясь сознанием

собственной развитости и свободы. Николай Петрович глянул на него из-под пальцев руки, которою он продолжал тереть себе лоб, и что-то кольнуло его в сердце... Но он тут же обвинил себя. -- Вот это уж наши поля пошли, -- проговорил он после долгого молчания. -- А это впереди, кажется, наш лес? -- спросил Аркадий. -- Да, наш. Только я его продал. В нынешнем году его сводить будут. -- Зачем ты его продал? -- Деньги были нужны; притом же эта земля отходит к мужикам. -- Которые тебе оброка не платят? -- Это уж их дело, а впрочем, будут же они когда-нибудь платить. -- Жаль леса, -- заметил Аркадий и стал глядеть кругом. Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, все поля, тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избушками под темными, часто до половины разметанными крышами, и

покривившиеся молотильные сарайчики с плетеными из хвороста стенами и зевающими воротницами возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно, мужички встречались все обтерханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями; исхудалые, шершавые, словно обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. Казалось, они только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей -- и, вызванный жалким видом обессиленных животных, среди весеннего красного дня вставал белый призрак безотрадной, бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами... "Нет, -- подумал Аркадий, -- небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы... но как их исполнить, как приступить?.." Так размышлял Аркадий... а пока он размышлял, весна брала свое. Все кругом золотисто зеленело, все широко и

мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка, все -- деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, висясь над низменными лугами, то молча перебежали по кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления... Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял. -- Теперь уж недалеко, -- заметил Николай Петрович, -- вот стоит только на эту горку подняться, и дом будет виден. Мы заживем с тобой на славу, Аркаша; ты мне помогать будешь по хозяйству, если только это тебе не наскучит. Нам надобно теперь тесно сойтись друг с другом, узнать друг друга хорошенько, не правда ли? -- Конечно, -- промолвил Аркадий, -- но что за чудный день сегодня! -- Для твоего приезда, душа моя. Да, весна в полном блеске. А впрочем, я согласен с Пушкиным -- помнишь, в Евгении Онегине: Как грустно мне твое

явление, Весна, весна, пора любви! Какое... -- Аркадий! -- раздался из тарантаса голос Базарова, -- пришли мне спичку, нечем трубку раскурить. Николай Петрович умолк, а Аркадий, который начал было слушать его не без некоторого изумления, но и не без сочувствия, поспешил достать из кармана серебряную коробочку со спичками и послал ее Базарову с Петром. -- Хочешь сигарку? -- закричал опять Базаров. -- Давай, -- отвечал Аркадий. Петр вернулся к коляске и вручил ему вместе с коробочкой толстую черную сигарку, которую Аркадий немедленно закурил, распространяя вокруг себя такой крепкий и кислый запах заматерелого табаку, что Николай Петрович, отроду не кутивший, поневоле, хотя незаметно, чтобы не обидеть сына, отворачивал нос. Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного серою краской и покрытого железною красною крышей. Это и было Марьино, Новая слободка тож, или, по крестьянскому наименованью, Бобылий хутор.

IV

Толпа дворовых не высыпала на крыльцо встречать господ; показалась всего одна девочка лет двенадцати, а вслед за ней вышел из дому молодой парень, очень похожий на Петра, одетый в серую ливрейную куртку с белыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Петровича Кирсанова. Он молча отворил дверцу коляски и отстегнул фартук тарантаса. Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через темную и почти пустую залу, из-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо, в гостиную, убранную уже в новейшем вкусе.

-- Вот мы и дома, -- промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. -- Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.

-- Поесть действительно не худо, -- заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван.

-- Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее. -- Николай Петрович без всякой видимой причины потопал ногами. -- Воткстати и Прокофьич.

Вошел человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый,

в коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошел к ручке к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину.

-- Вот он, Прокофьич, -- начал Николай Петрович, -- приехал к нам наконец... Что? как ты его находишь?

-- В лучшем виде-с, -- проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои густые брови. -- На стол накрывать прикажете? -- проговорил он внушительно.

-- Да, да, пожалуйста. Но не пройдет ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич?

-- Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажете только чемоданишко мой туда стащить да вот эту одеженку, -- прибавил он, снимая с себя свой балахон.

-- Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с недоумением, взял обеими руками базаровскую "одеженку" и, высоко подняв ее над головою, удалился на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку? -- Да, надо почиститься, -- отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего

роста, одетый в темный английский сьют, модный низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов. Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, -- руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительно европейское "shake hands" {рукопожатие (англ.)}, он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил: "Добро пожаловать".

Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман. -- Я уже думал, что вы не приедете сегодня, -- заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. -- Разве что на дороге случилось? -- Ничего не случилось, -- отвечал Аркадий, -- так, замешкались немного. Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи Прокофьяча, папаша, а я сейчас вернусь. -- Пойду, -- воскликнул Базаров, внезапно порываясь с дивана. Оба молодые человека вышли. -- Кто сей? -- спросил Павел Петрович. -- Приятель Аркаши, очень, по его словам, умный человек. -- Он у нас гостить будет? -- Да. -- Этот волосатый? -- Ну да. Павел Петрович постучал ногтями по столу. -- Я нахожу, что Аркадий s'est degourdi {стал развязнее (*франц.*)}, -- заметил он. -- Я рад его возвращению. За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел много. Николай Петрович рассказывал разные случаи из своей, как он выражался

фермерской жизни, толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах, о необходимости заводить машины и т.д. Павел Петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой (он никогда не ужинал), изредка отхлебывая из рюмки, наполненной красным вином, и еще реже произнося какое-нибудь замечание или скорее восклицание, вроде "а! эге! гм!". Аркадий сообщил несколько петербургских новостей, но он ощущал небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком. Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова "папаша" и даже раз заменил его словом "отец", произнесенным, правда, сквозь зубы; с излишнею развязностью налил себе в стакан гораздо больше вина, чем самому хотелось, и выпил все вино. Прокофьич не спускал с него глаз и только губами пожевывал. После ужина все тотчас разошлись. -- А чудаковат у тебя дядя, -- говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его постели и насасывая короткую трубочку.

-- Щегольство какое в деревне, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай! -- Да ведь ты не знаешь, -- ответил Аркадий, -- ведь он львом был в свое время. Я когда-нибудь расскажу тебе его историю. Ведь он красавцем был, голову кружил женщинам. -- Да, вот что! По старой, значит, памяти. Пленять-то здесь, жаль, некого. Я все смотрел: этакие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаич, ведь это смешно? -- Пожалуй; только он, право, хороший человек. -- Архаическое явление! А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк. -- Отец у меня золотой человек. -- Заметил ли ты, что он робеет? Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел. -- Удивительное дело, -- продолжал Базаров, -- эти старенькие романтики! Разовьют в себе нервную систему до раздражения... ну, равновесие и нарушено. Однако прощай! В моей комнате английский рукомойник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо -- английские рукомойники, то есть прогресс! Базаров ушел, а Аркадием овладело радостное

чувство. Сладко засыпать в родимом доме, на знакомой постеле, под одеялом, над которым трудились любимые руки, быть может руки нянюшки, те ласковые, добрые и неумолимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну, и вздохнул, и пожелал ей царствия небесного... О себе он не молился. И он и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечи и, подперши рукою голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гамбсовом кресле, перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без задков сменили на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний номер *Galignani*, но он не читал; он глядел пристально в камин, где, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя... Бог знает, где бродили его мысли, но не в одном только прошедшем бродили они: выражение его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке, на большом сундуке, сидела, в

голубой душегрейке и с наброшенным белым платком на темных волосах, молодая женщина, Фенечка, и то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка и слышалось ровное дыхание спящего ребенка.

V

На другое утро Базаров раньше всех проснулся и вышел из дома. "Эге! -- подумал он, посмотрев кругом, -- местечко-то неказисто". Когда Николай Петрович размежевался с своими крестьянами, ему пришлось отвести под новую усадьбу десятины четыре совершенно ровного и голого поля. Он построил дом, службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и два колодца; но молодые деревца плохо принимались, в пруде воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатого вкуса. Одна только беседка из сирени и акаций порядочно разрослась; в ней иногда пили чай и обедали. Базаров в несколько минут обегал все дорожки сада, зашел на скотный двор, на конюшню, отыскал двух дворовых мальчишек, с

которыми тотчас свел знакомство, и отправился с ними в небольшое болотце, с версту от усадьбы, за лягушками. -- На что тебе лягушки, барин? -- спросил его один из мальчиков. -- А вот на что, -- отвечал ему Базаров, который владел особенным умением возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно, -- я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается. -- Да на что тебе это? -- А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь и мне тебя лечить придется. -- Разве ты дохтур? -- Да. -- Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно! -- Я их боюсь, лягушек-то, -- заметил Васька, мальчик лет семи, с белою, как лен, головою, в сером казакине с стоячим воротником и босой. -- Чего бояться? разве они кусаются? -- Ну, полезайте в воду, философы, -- промолвил Базаров. Между тем Николай Петрович тоже проснулся и отправился к Аркадию, которого застал одетым. Отец и сын вышли на террасу, под навес маркизы; возле перил, на столе, между большими

букетами сирени, уже кипел самовар. Явилась девочка, та самая, которая накануне первая встретила приезжих на крыльце, и тонким голосом проговорила: -- Федосья Николаевна не совсем здоровы, прийти не могут; приказали вас спросить, вам самим угодно разлить чай или прислать Дуняшу? -- Я сам разолью, сам, -- поспешно подхватил Николай Петрович. -- Ты, Аркадий, с чем пьешь чай, со сливками или с лимоном? -- Со сливками, -- отвечал Аркадий и, помолчав немного, вопросительно произнес: -- Папаша? Николай Петрович с замешательством посмотрел на сына. -- Что? -- промолвил он. Аркадий опустил глаза. -- Извини, папаша, если мой вопрос тебе покажется неуместным, -- начал он, -- но ты сам, вчерашнею своею откровенностью, меня вызываешь на откровенность... ты не рассердишься?.. -- Говори. -- Ты мне даешь смелость спросить тебя... Не оттого ли Фен... не оттого ли она не приходит сюда чай разливать, что я здесь? Николай Петрович слегка отвернулся. -- Может быть, -- проговорил он наконец, -- она предполагает... она стыдится... Аркадий быстро вскинул глазами на отца. -- Напрасно ж она стыдится.

Во-первых, тебе известен мой образ мыслей (Аркадию очень было приятно произнести эти слова), а во-вторых -- захочу ли я хоть на волос стеснять твою жизнь, твои привычки? Притом, я уверен, ты не мог сделать дурной выбор; если ты позволил ей жить с тобой под одною кровлей, стало быть она это заслуживает: во всяком случае, сын отцу не судья, и в особенности я, и в особенности такому отцу, который, как ты, никогда и ни в чем не стеснял моей свободы. Голос Аркадия дрожал сначала: он чувствовал себя великодушным, однако в то же время понимал, что читает нечто вроде наставления своему отцу; но звук собственных речей сильно действует на человека, и Аркадий произнес последние слова твердо, даже с эффектом. -- Спасибо, Аркаша, -- глухо заговорил Николай Петрович, и пальцы его опять заходили по бровям и по лбу. -- Твои предположения действительно справедливы. Конечно, если б эта девушка не стоила... Это не легкомысленная прихоть. Мне неловко говорить с тобой об этом; но ты понимаешь, что ей трудно было прийти сюда при тебе, особенно в первый день твоего приезда. -- В таком случае я сам пойду к ней,

-- воскликнул Аркадий с новым приливом великодушных чувств и вскочил со стула. -- Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться. Николай Петрович тоже встал. -- Аркадий, -- начал он, -- сделай одолжение... как же можно... там... Я тебя не предварил... Но Аркадий уже не слушал его и убежал с террасы. Николай Петрович посмотрел ему вслед и в смущенье опустил на стул. Сердце его забилося... Представилась ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном, сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал ему Аркадий, если б он вовсе не касался этого дела, упрекал ли он самого себя в слабости -- сказать трудно; все эти чувства были в нем, но в виде ощущений -- и то неясных; а с лица не сходила краска, и сердце билось. Послышались торопливые шаги, и Аркадий вошел на террасу. -- Мы познакомились, отец! -- воскликнул он с выражением какого-то ласкового и доброго торжества на лице. -- Федосья Николаевна точно сегодня не совсем здорова и придет попозже. Но как же ты не сказал мне, что у меня есть брат? Я бы уже вчера вечером его расцеловал, как я сейчас расцеловал его.

Николай Петрович хотел что-то вымолвить, хотел подняться и раскрыть объятия... Аркадий бросился ему на шею. -- Что это? опять обнимаетесь? -- раздался сзади их голос Павла Петровича. Отец и сын одинаково обрадовались появлению его в эту минуту; бывают положения трогательные, из которых все-таки хочется поскорее выйти. -- Чему ж ты удивляешься? -- весело заговорил Николай Петрович. -- В кои-то веки дождался я Аркаши... Я со вчерашнего дня и насмотреться на него не успел. -- Я вовсе не удивляюсь, -- заметил Павел Петрович, -- я даже сам не прочь с ним обняться. Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его душистых усов. Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, в английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички рубашки, правда не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с обычной неумолимостью упиралась в выбритый подбородок. -- Где же новый твой приятель? -- спросил он Аркадия. -- Его дома нет;

он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит. -- Да, это заметно. -- Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб. -- Долго он у нас прогостит? -- Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу. -- А отец его где живет? -- В нашей же губернии, верст восемьдесят отсюда. У него там небольшое имение. Он был прежде полковым доктором. -- Тэ-тэ-тэ-тэ... То-то я все себя спрашивал: где слышал я эту фамилию: Базаров?.. Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров? -- Кажется, был. -- Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Гм! -- Павел Петрович повел усами. -- Ну, а сам господин Базаров, собственно, что такое? -- спросил он с расстановкой. -- Что такое Базаров? -- Аркадий усмехнулся. -- Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он собственно такое? -- Сделай одолжение, племянничек. -- Он нигилист. -- Как? -- спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен. -- Он нигилист, -- повторил Аркадий. -- Нигилист, --

проговорил Николай Петрович. -- Это от латинского *nihi*, ничего, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который... который ничего не признает? -- Скажи: который ничего не уважает, -- подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло. -- Какой ко всему относится с критической точки зрения, -- заметил Аркадий. -- А это не все равно? -- спросил Павел Петрович. -- Нет, не все равно. Нигилист -- это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип. -- И что ж, это хорошо? -- перебил Павел Петрович. -- Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно. -- Вот как. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди старого века, мы полагаем, что без принципов (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, Аркадий, напротив, произносил "принцип", налегая на первый слог), без принципов, принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить,дохнуть нельзя. *Vous avez change tout cela* {Вы все это изменили (*франц.*)}, дай вам Бог здоровья и генеральский чин, а мы только любоваться вами

будем, господа... как бишь? -- Нигилисты, -- отчетливо проговорил Аркадий. -- Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве; а теперь позвони-ка, пожалуйста, брат, Николай Петрович, мне пора пить мой какао. Николай Петрович позвонил и закричал: "Дуняша!" Но вместо Дуняши на террасу вышла сама Фенечка. Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах. Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной под тонкою кожицей ее миловидного лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Казалось, ей и совестно было, что она пришла, и в то же время она как будто чувствовала, что имела право прийти. Павел Петрович строго нахмурил брови, а Николай Петрович смутился. -- Здравствуй, Фенечка, -- проговорил он

сквозь зубы. -- Здравствуйте-с, -- ответила она негромким, но звучным голосом и, глянув искоса на Аркадия, который дружелюбно ей улыбался, тихонько вышла. Она ходила немножко вразвалку, но и это к ней пристало. На террасе в течение нескольких мгновений господствовало молчание. Павел Петрович похлебывал свой какао и вдруг поднял голову. -- Вот и господин нигилист к нам жалуется, -- промолвил он вполголоса. Действительно, по саду, шагая через клумбы, шел Базаров. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы в грязи; цепкое болотное растение обвивало тулью его старой круглой шляпы; в правой руке он держал небольшой мешок; в мешке шевелилось что-то живое. Он быстро приблизился к террасе и, качнув головою, промолвил: -- Здравствуйте, господа; извините, что опоздал к чаю, сейчас вернусь; надо вот этих пленниц к месту пристроить. -- Что это у вас, пиявки? -- спросил Павел Петрович. -- Нет, лягушки. -- Вы их едите или разводите? -- Для опытов, -- равнодушно проговорил Базаров и ушел в дом. -- Это он их резать станет, -- заметил Павел Петрович, -- в принципы не верит, а в лягушек верит.

Аркадий с сожалением посмотрел на дядю, и Николай Петрович украдкой пожал плечом. Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил неудачно, и заговорил о хозяйстве и о новом управляющем, который накануне приходил к нему жаловаться, что работник Фома "либоширничает" и от рук отбился. "Такой уж он Езоп, -- сказал он между прочим, -- всюду протестовал себя дурным человеком; поживет и с глупостью отойдет".

VI

Базаров вернулся, сел за стол и начал поспешно пить чай. Оба брата молча глядели на него, а Аркадий украдкой посматривал то на отца, то на дядю. -- Вы далеко отсюда ходили? -- спросил наконец Николай Петрович. -- Тут у вас болотце есть, возле осиновой рощи. Я взогнал штук пять бекасов; ты можешь убить их, Аркадий. -- А вы не охотник? -- Нет. -- Вы собственно физикой занимаетесь? -- спросил, в свою очередь, Павел Петрович. -- Физикой, да; вообще естественными науками. -- Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части. -- Да, немцы в этом наши учителя, -- небрежно отвечал

Базаров. Слово германцы, вместо немцы, Павел Петрович употребил ради иронии, которой, однако, никто не заметил. -- Вы столь высокого мнения о немцах? -- проговорил с изысканною учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое. -- Тамошние ученые дельный народ. -- Так, так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, но имеете столь лестного понятия? -- Пожалуй, что так. -- Это очень похвальное самоотвержение, -- произнес Павел Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад. -- Но как же нам Аркадий Николаич сейчас сказывал, что вы не признаете никаких авторитетов? Не верите им? -- Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и все. -- А немцы все дело говорят? -- промолвил Павел Петрович, и лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выражение, словно он весь ушел в какую-то заоблачную высь. -- Не все, -- ответил с коротким

зевком Базаров, которому явно не хотелось продолжать словопрение. Павел Петрович взглянул на Аркадия, как бы желая сказать ему: "Учтив твой друг, признаться". -- Что касается до меня, -- заговорил он опять, не без некоторого усилия, -- я немцев, грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже не упоминаю: известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда; тогда у них были -- ну, там Шиллер, что ли. Гетте... Брат вот им особенно благоприятствует... А теперь пошли все какие-то химики да материалисты... -- Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, -- перебил Базаров. -- Вот как, -- промолвил Павел Петрович и, словно засыпая, чуть-чуть приподнял брови. -- Вы, стало быть, искусства не признаете? -- Искусство наживать деньги, или нет более геморроя! -- воскликнул Базаров с презрительною усмешкой. -- Так-с, такс. Вот как вы изволите шутить. Это вы все, стало быть, отвергаете? Положим. Значит, вы верите в одну науку? -- Я уже доложил вам, что ни во что не верю; и что такое наука -- наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, знания; а наука вообще не

существует вовсе. -- Очень хорошо-с. Ну, а насчет других, в людском быту принятых, постановлений вы придерживаетесь такого же отрицательного направления? -- Что это, допрос? -- спросил Базаров. Павел Петрович слегка побледнел... Николай Петрович почел должным вмешаться в разговор. -- Мы когда-нибудь поподробнее побеседуем об этом предмете с вами, любезный Евгений Васильич; и ваше мнение узнаем, и свое выскажем. С своей стороны, я очень рад, что вы занимаетесь естественными науками. Я слышал, что Либих сделал удивительные открытия насчет удобрения полей. Вы можете мне помочь в моих агрономических работах: вы можете дать мне какой-нибудь полезный совет. -- Я к вашим услугам, Николай Петрович; но куда нам до Либиха! Сперва надо азбуке выучиться и потом уже взяться за книгу, а мы еще аза в глаза не видали. "Ну, ты, я вижу, точно нигилист", -- подумал Николай Петрович. -- Все-таки позвольте прибегнуть к вам при случае, -- прибавил он вслух. -- А теперь нам, я полагаю, брат, пора пойти потолковать с приказчиком. Павел Петрович поднялся со стула. -- Да, -- проговорил он, ни на кого не глядя, -- беда

пожить этак годков пять в деревне, в отдалении от великих умов! Как раз дурак дураком станешь. Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а там -- хватать! -- оказывается, что все это вздор, и тебе говорят, что путные люди такими пустяками больше не занимаются и что ты, мол, отсталый колпак. Что делать! Видно, молодежь точно умнее нас. Павел Петрович медленно повернулся на каблуках и медленно вышел; Николай Петрович отправился вслед за ним. -- Что, он всегда у вас такой? -- хладнокровно спросил Базаров у Аркадия, как только дверь затворилась за обоими братьями. -- Послушай, Евгений, ты уже слишком резко с ним обошелся, -- заметил Аркадий. -- Ты его оскорбил. -- Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов! Ведь это все самолюбивые, львиные привычки, фатство. Ну, продолжал бы свое поприще в Петербурге, коли уж такой у него склад... А впрочем, Бог с ним совсем! Я нашел довольно редкий экземпляр водяного жука, *Dytiscus marginatus*, знаешь? Я тебе его покажу. -- Я тебе обещался рассказать его историю, -- начал Аркадий. -- Историю жука? -- Ну полно, Евгений. Историю моего дяди.

Ты увидишь, что он не такой человек, каким ты его воображаешь. Он скорее сожаления достоин, чем насмешки. -- Я не спорю; да что он тебе так дался? -- Надо быть справедливым, Евгений. -- Это из чего следует? -- Нет, слушай... И Аркадий рассказал ему историю своего дяди. Читатель найдет ее в следующей главе.

VII

Павел Петрович Кирсанов воспитывался сперва дома, так же как и младший брат его Николай, потом в пажеском корпусе. Он с детства отличался замечательною красотою; к тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен -- он не мог не нравиться. Он начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не походил. Николай Петрович прихрамывал, черты имел маленькие, приятные, но несколько грустные, небольшие черные

глаза и мягкие жидкие волосы; он охотно ленился, но и читал охотно, и боялся общества. Павел Петрович ни одного вечера не проводил дома, славился смелостию и ловкостию (он ввел было гимнастику в моду между светскою молодежью) и прочел всего пять, шесть французских книг. На двадцать восьмом году от роду он уже был капитаном; блестящая карьера ожидала его. Вдруг все изменилось. В то время в петербургском свете изредка появлялась женщина, которую не забыли до сих пор, княгиня Р. У ней был благовоспитанный и приличный, но глуповатый муж и не было детей. Она внезапно уезжала за границу, внезапно возвращалась в Россию, вообще вела странную жизнь. Она слыла за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с молодыми людьми, которых принимала перед обедом в полумраке гостиной, а по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, или сидела, вся бледная и холодная, над псалтырем. День наставал, и она снова превращалась в светскую даму, снова выезжала, смеялась,

болтала и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей малейшее развлечение. Она была удивительно сложена; ее коса золотого цвета и тяжелая, как золото, падала ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал; во всем ее лице только и было хорошего, что глаза, и даже не самые глаза -- они были невелики и серы, -- но взгляд их, быстрый, глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния, -- загадочный взгляд. Что-то необычайное светилось в нем даже тогда, когда язык ее лепетал самые пустые речи. Одевалась она изысканно. Павел Петрович встретил ее на одном бале, протанцевал с ней мазурку, в течение которой она не сказала ни одного путного слова, и влюбился в нее страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели; но легкость торжества не охладила его. Напротив: он еще мучительнее, еще крепче привязался к этой женщине, в которой даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть. Что гнездилось в этой душе -- Бог весть! Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой неведомых сил; они играли ею,

как хотели; ее небольшой ум не мог сладить с их прихотью. Все ее поведение представляло ряд несообразностей; единственные письма, которые могли бы возбудить справедливые подозрения ее мужа, она написала к человеку почти ей чужому, а любовь ее отзывалась печалью; она уже не смеялась и не шутила с тем, кого избирала, и слушала его и глядела на него с недоумением. Иногда, большею частью внезапно, это недоумение переходило в холодный ужас; лицо ее принимало выражение мертвенное и дикое; она запиралась у себя в спальне, и горничная ее могла слышать, припав ухом к замку, ее глухие рыдания. Не раз, возвращаясь к себе домой после нежного свидания, Кирсанов чувствовал на сердце ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается в сердце после окончательной неудачи. "Чего же хочу я еще?" -- спрашивал он себя, а сердце все ныло. Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом. -- Что это? -- спросила она, -- сфинкс? -- Да, -- ответил он, -- и этот сфинкс -- вы. -- Я? -- спросила она и медленно подняла на него свой загадочный взгляд. -- Знаете ли, что это очень лестно? -- прибавила она с незначительною

усмешкой, а глаза глядели все так же странно. Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. его любила; но когда она охладела к нему, а это случилось довольно скоро, он чуть с ума не сошел. Он терзался и ревновал, не давал ей покою, таскался за ней повсюду; ей надоело его неотвязное преследование, и она уехала за границу. Он вышел в отставку, несмотря на просьбы приятелей, на увещания начальников, и отправился вслед за княгиней; года четыре провел он в чужих краях, то гонясь за нею, то с намерением теряя ее из виду; он стыдился самого себя, он негодовал на свое малодушие... но ничто не помогало. Ее образ, этот непонятный, почти бессмысленный, но обаятельный образ слишком глубоко внедрился в его душу. В Бадене он как-то опять сошелся с нею по-прежнему; казалось, никогда еще она так страстно его не любила... но через месяц все уже было кончено: огонь вспыхнул в последний раз и угас навсегда. Предчувствуя неизбежную разлуку, он хотел, по крайней мере, остаться ее другом, как будто дружба с такою женщиной была возможна... Она тихонько выехала из Бадена и с тех пор постоянно избегала Кирсанова.

Он вернулся в Россию, попытался зажить старою жизнью, но уже не мог попасть в прежнюю колею. Как отравленный, бродил он с места на место; он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека; он мог похвастаться двумя, тремя новыми победами; но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других и ничего не предпринимал. Он состарился, поседел; сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равнодушно поспорить в холостом обществе стало для него потребностью, -- знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. Десять лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей. Однажды, за обедом, в клубе, Павел Петрович узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже, в состоянии близком к помешательству. Он встал из-за стола и долго ходил по комнатам клуба, останавливаясь как вкопанный близ карточных игроков, но не вернулся домой раньше обыкновенного. Через несколько времени он получил пакет, адресованный на его имя: в нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу

крестообразную черту и велела ему сказать, что крест -- вот разгадка. Это случилось в начале 48-го года, в то самое время, когда Николай Петрович, лишившись жены, приезжал в Петербург. Павел Петрович почти не видался с братом с тех пор, как тот поселился в деревне: свадьба Николая Петровича совпала с самыми первыми днями знакомства Павла Петровича с княгиней. Вернувшись из-за границы, он отправился к нему с намерением погостить у него месяца два, полюбоваться его счастьем, но выжил у него одну только неделю. Различие в положении обоих братьев было слишком велико. В 48-м году это различие уменьшилось: Николай Петрович потерял жену, Павел Петрович потерял свои воспоминания; после смерти княгини он старался не думать о ней. Но у Николая оставалось чувство правильно проведенной жизни, сын вырастал на его глазах; Павел, напротив, одинокий холостяк, вступал в то смутное, сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления, когда молодость прошла, а старость еще не настала. Это время было труднее для Павла Петровича, чем для всякого другого: потеряв свое прошедшее,

он все потерял. -- Я не зову теперь тебя в Марьино, -- сказал ему однажды Николай Петрович (он назвал свою деревню этим именем в честь жены), -- ты и при покойнице там соскучился, а теперь ты, я думаю, там с тоски пропадешь. -- Я был еще глуп и суетлив тогда, -- отвечал Павел Петрович, -- с тех пор я уgomонился, если не поумнел. Теперь, напротив, если ты позволишь, я готов навсегда у тебя поселиться. Вместо ответа Николай Петрович обнял его; но полтора года прошло после этого разговора, прежде чем Павел Петрович решился осуществить свое намерение. Зато, поселившись однажды в деревне, он уже не покидал ее даже и в те три зимы, которые Николай Петрович провел в Петербурге с сыном. Он стал читать, все больше по-английски; он вообще всю жизнь свою устроил на английский вкус, редко видался с соседями и выезжал только на выборы, где он большею частию помалчивал, лишь изредка дразня и пугая помещиков старого покроя либеральными выходками и не сближаясь с представителями нового поколения. И те и другие считали его гордецом; и те и другие его уважали за его отличные, аристократические манеры, за слухи о его

победах; за то, что он прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере лучшей гостиницы; за то, что он вообще хорошо обедал, а однажды даже пообедал с Веллингтоном у Людовика-Филиппа; за то, что он всюду возил с собою настоящий серебряный несессер и походную ванну; за то, что от него пахло какими-то необыкновенными, удивительно "благородными" духами; за то, что он мастерски играл в вист и всегда проигрывал; наконец, его уважали также за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательным меланхоликом, но он не знался с дамами... -- Вот видишь ли, Евгений, -- промолвил Аркадий, оканчивая свой рассказ, -- как несправедливо ты судишь о дяде! Я уже не говорю о том, что он не раз выручал отца из беды, отдавал ему все свои деньги, -- имение, ты, может быть, не знаешь, у них не разделено, -- но он всякому рад помочь и, между прочим, всегда вступается за крестьян; правда, говоря с ними, он морщится и нюхает одеколон... -- Известное дело: нервы, -- перебил Базаров. -- Может быть, только у него сердце предоброе. И он далеко не глуп. Какие он мне давал полезные советы... особенно

особенно насчет отношений к женщинам. -- Ага! На своем молоке обжегся, на чужую воду дует. Знаем мы это! -- Ну, словом, -- продолжал Аркадий, -- он глубоко несчастлив, поверь мне; презирать его -- грешно. -- Да кто его презирает? -- возразил Базаров. -- А я все-таки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви и когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен, этакой человек -- не мужчина, не самец. Ты говоришь, что он несчастлив: тебе лучше знать; но дурь из него не вся вышла. Я уверен, что он не шутя воображает себя дельным человеком, потому что читает Галиньяшку и раз в месяц избавит мужика от экзекуции. -- Да вспомни его воспитание, время, в которое он жил, -- заметил Аркадий. -- Воспитание? -- подхватил Базаров. -- Всякий человек сам себя воспитать должен -- ну хоть как я, например... А что касается до времени -- отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. Нет, брат, это все распушенность, пустота! И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка

анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше смотреть жука. И оба приятеля отправились в комнату Базарова, в которой уже успел установиться какой-то медицинско-хирургический запах, смешанный с запахом дешевого табаку.

VIII

Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим, высоким и худым человеком с сладким чахоточным голосом и плутовскими глазами, который на все замечания Николая Петровича отвечал: "Помилуйте-с, известное дело-с" -- и старался представить мужиков пьяницами и ворами. Недавно заведенное на новый лад хозяйство скрипело, как немазаное колесо, трещало, как домоделанная мебель из сырого дерева. Николай Петрович не унывал, но частенько вздыхал и задумывался: он чувствовал, что без денег дело не пойдет, а деньги у него почти все перевелись. Аркадий сказал правду: Павел Петрович не раз помогал своему брату; не раз,

видя, как он бился и ломал себе голову, придумывая, как бы извернуться, Павел Петрович медленно подходил к окну и, засунув руки в карманы, бормотал сквозь зубы: "Mais je puis vous donner de l'argent" {Но я могу дать вам денег (франц.).} -- и давал ему денег; но в этот день у него самого ничего не было, и он предпочел удалиться. Хозяйственные дразги наводили на него тоску; притом ему постоянно казалось, что Николай Петрович, несмотря на все свое рвение и трудолюбие, не так принимается за дело, как бы следовало; хотя указать, в чем собственно ошибается Николай Петрович, он не сумел бы. "Брат не довольно практичен, -- рассуждал он сам с собою, -- его обманывают". Николай Петрович, напротив, был высокого мнения о практичности Павла Петровича и всегда спрашивал его совета. "Я человек мягкий, слабый, век свой провел в глуши, -- говаривал он, -- а ты не даром так много жил с людьми, ты их хорошо знаешь: у тебя орлиный взгляд". Павел Петрович в ответ на эти слова только отворачивался, но не разуверял брата. Оставив Николая Петровича в кабинете, он отправился по коридору, отделявшему переднюю часть дома от задней, и,

поравнявшись с низенькою дверью, остановился в раздумье, подергал себе усы и постучался в нее. -- Кто там? Войдите, -- раздался голос Фенечки. -- Это я, -- проговорил Павел Петрович и отворил дверь. Фенечка вскочила со стула, на котором она уселась с своим ребенком, и, передав его на руки девушки, которая тотчас же вынесла его вон из комнаты, торопливо поправила свою косынку. -- Извините, если я помешал, -- начал Павел Петрович, не глядя на нее, -- мне хотелось только попросить вас... сегодня, кажется, в город посылают... велите купить для меня зеленого чаю. -- Слушаю-с, -- отвечала Фенечка, -- сколько прикажете купить? -- Да полфунта довольно будет, я полагаю. А у вас здесь, я вижу, перемена, -- прибавил он, бросив вокруг быстрый взгляд, который скользнул и по лицу Фенечки. -- Занавески вот, -- промолвил он, видя, что она его не понимает. -- Да-с, занавески; Николай Петрович нам их пожаловал; да уж они давно повешены. -- Да и я у вас давно не был. Теперь у вас здесь очень хорошо. -- По милости Николая Петровича, -- шепнула Фенечка. -- Вам здесь лучше, чем в прежнем флигельке? -- спросил Павел Петрович вежливо, но без

малейшей улыбки. -- Конечно, лучше-с. -- Кого теперь на ваше место поместили? -- Теперь там прачки. -- А! Павел Петрович умолк. "Теперь уйдет", -- думала Фенечка, но он не уходил, и она стояла перед ним как вкопанная; слабо перебирая пальцами. -- Отчего вы велели вашего маленького вынести? -- заговорил, наконец, Павел Петрович. -- Я люблю детей: покажите-ка мне его. Фенечка вся покраснела от смущения и от радости. Она боялась Павла Петровича: он почти никогда не говорил с ней. -- Дуняша, -- кликнула она, -- принесите Митю (Фенечка всем в доме говорила вы). А не то погодите; надо ему платьице надеть. Фенечка направилась к двери. -- Да все равно, -- заметил Павел Петрович. -- Я сейчас, -- ответила Фенечка и проворно вышла. Павел Петрович остался один и на этот раз с особенным вниманием оглянулся кругом. Небольшая, низенькая комнатка, в которой он находился, была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным полом, ромашкой и мелиссой. Вдоль стен стояли стулья с задками в виде лир; они были куплены еще покойником генералом в Польше, во время похода; в одном углу возвышалась кроватка под кисейным пологом,

рядом с кованым сундуком с круглою крышкой. В противоположном углу горела лампадка перед большим темным образом Николая-чудотворца; крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленное к сиянию; на окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом; на бумажных их крышках сама Фенечка написала крупными буквами: "кружовник"; Николай Петрович любил особенно это варенье. Под потолком, на длинном шнурке, висела клетка с короткохвостым чижом; он беспрестанно чирикал и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала: конопляные зерна с легким стуком падали на пол. В простенке, над небольшим комодом, висели довольно плохие фотографические портреты Николая Петровича в разных положениях, сделанные заезжим художником; тут же висела фотография самой Фенечки, совершенно не удавшаяся: какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось в темной рамочке, -- больше ничего нельзя было разобрать; а над Фенечкой -- Ермолов, в бурке, грозно хмурился на отдаленные Кавказские горы, из-под шелкового башмачка для булавок, падавшего ему

на самый лоб. Прошло минут пять; в соседней комнате слышался шелест и шепот. Павел Петрович взял с комода замасленную книгу, разрозненный том Стрельцов Масальского, перевернул несколько страниц... Дверь отворилась, и вошла Фенечка с Митей на руках. Она надела на него красную рубашечку с галуном на вороте, причесала его волосики и утерла лицо: он дышал тяжело, порывался всем телом и подергивал ручонками, как это делают все здоровые дети; но щегольская рубашечка видимо на него подействовала: выражение удовольствия отражалось на всей его пухлой фигурке. Фенечка и свои волосы привела в порядок, и косынку надела получше, но она могла бы остаться, как была. И в самом деле, есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на руках? -- Экой бутуз, -- снисходительно проговорил Павел Петрович и пощекотал двойной подбородок Мити концом длинного ногтя на указательном пальце; ребенок уставился на чижика и засмеялся. -- Это дядя, -- промолвила Фенечка, склоняя к нему свое лицо и слегка его встряхивая, между тем как Дуняша тихонько ставила на окно зажженную

курительную свечку, подложивши под нее грош. -- Сколько бишь ему месяцев? -- спросил Павел Петрович. -- Шесть месяцев; скоро вот седьмой пойдет, одиннадцатого числа. -- Не восьмой ли, Федосья Николаевна? -- не без робости вмешалась Дуняша. -- Нет, седьмой; как можно! -- Ребенок опять засмеялся, уставился на сундук и вдруг схватил свою мать всею пятерней за нос и за губы. -- Баловник, -- проговорила Фенечка, не отодвигая лица от его пальцев. -- Он похож на брата, -- заметил Павел Петрович. "На кого ж ему и походить?" -- подумала Фенечка. -- Да, -- продолжал, как бы говоря с самим собой, Павел Петрович, -- несомненное сходство. -- Он внимательно, почти печально посмотрел на Фенечку. -- Это дядя, -- повторила она, уже шепотом. -- А! Павел! вот где ты! -- раздался вдруг голос Николая Петровича. Павел Петрович торопливо обернулся и нахмурился; но брат его так радостно, с такою благодарностью глядел на него, что он не мог не ответить ему улыбкой. -- Славный у тебя мальчуган, -- промолвил он и посмотрел на часы, -- а я завернул сюда насчет чаю... И, приняв равнодушное выражение, Павел Петрович тотчас же вышел вон

из комнаты. -- Сам собою зашел? -- спросил Фенечку Николай Петрович. -- Сами-с; постучались и вошли. -- Ну, а Аркаша больше у тебя не был? -- Не был. Не перейти ли мне во флигель, Николай Петрович? -- Это зачем? -- Я думаю, не лучше ли будет на первое время. -- Н... нет, -- произнес с запинкой Николай Петрович и потер себе лоб. -- Надо было прежде... Здравствуй, пузырь, -- проговорил он с внезапным оживлением и, приблизившись к ребенку, поцеловал его в щеку; потом он нагнулся немного и приложил губы к Фенечкиной руке, белевшей, как молоко, на красной рубашечке Мити. -- Николай Петрович! что вы это? -- пролепетала она и опустила глаза, потом тихонько подняла их... Прелестно было выражение ее глаз, когда она глядела как бы исподлобья да посмеивалась ласково и немножко глупо. Николай Петрович познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, года три тому назад, ему пришлось ночевать на постоялом дворе в отдаленном уездном городе. Его приятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свежесть постельного белья. "Уж не немка ли здесь хозяйка?" -- пришло ему на мысль; но хозяйкой оказалась

русская, женщина лет пятидесяти, опрятно одетая, с благообразным умным лицом и степенною речью. Он разговорился с ней за чаем; очень она ему понравилась. Николай Петрович в то время только что переселился в новую свою усадьбу и, не желая держать при себе крепостных людей, искал наемных; хозяйка, с своей стороны, жаловалась на малое число проезжающих в городе, на тяжелые времена; он предложил ей поступить к нему в дом в качестве экономки; она согласилась. Муж у ней давно умер, оставив ей одну только дочь, Фенечку. Недели через две Арина Савишна (так звали новую экономку) прибыла вместе с дочерью в Марьино и поселилась во флигельке. Выбор Николая Петровича оказался удачным, Арина завела порядок в доме. О Фенечке, которой тогда минул уже семнадцатый год, никто не говорил, и редкий ее видел: она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньям Николай Петрович замечал в приходской церкви, где-нибудь в сторонке, тонкий профиль ее беленького лица. Так прошло более года. В одно утро Арина явилась к нему в кабинет и, по обыкновению, низко поклонившись, спросила его,

не может ли он помочь ее дочке, которой искра из печки попала в глаз. Николай Петрович, как все домоседы, занимался лечением и даже выписал гомеопатическую аптечку. Он тотчас велел Арине привести больную. Узнав, что барин ее зовет, Фенечка очень перетрусилась, однако пошла за матерью. Николай Петрович подвел ее к окну и взял ее обеими руками за голову. Рассмотрев хорошенько ее покрасневший и воспаленный глаз, он прописал ей примочку, которую тут же сам составил, и, разорвав на части свой платок, показал ей, как надо примачивать. Фенечка выслушала его и хотела выйти. "Поцелуй же ручку у барина, глупенькая", -- сказала ей Арина. Николай Петрович не дал ей своей руки и, сконфузившись, сам поцеловал ее в наклоненную голову, в пробор. Фенечкин глаз скоро выздоровел, но впечатление, произведенное ею на Николая Петровича, прошло не скоро. Ему все мерещилось это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо; он чувствовал под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки. Он начал с большим вниманием

глядеть на нее в церкви, старался заговаривать с нею. Сначала она его дичилась и однажды, перед вечером, встретив его на узкой тропинке, проложенной пешеходами через ржаное поле, зашла в высокую, густую рожь, поросшую полынью и васильками, чтобы только не попасться ему на глаза. Он увидал ее головку сквозь золотую сетку колосьев, откуда она высматривала, как зверок, и ласково крикнул ей: -- Здравствуй, Фенечка! Я не кусаюсь. -- Здравствуйте, -- прошептала она, не выходя из своей засады. Понемногу она стала привыкать к нему, но все еще робела в его присутствии, как вдруг ее мать Арина умерла от холеры. Куда было деваться Фенечке? Она наследовала от своей матери любовь к порядку, рассудительность и степенность; но она была так молода, так одинока; Николай Петрович был сам такой добрый и скромный... Остальное досказывать нечего... -- Так-таки брат к тебе и вошел? -- спрашивал ее Николай Петрович. -- Постучался и вошел? -- Да-с. -- Ну, это хорошо. Дай-ка мне покачать Митю. И Николай Петрович начал его подбрасывать почти под самый потолок, к великому удовольствию малютки и к немалому

беспокойству матери, которая при всяком его взлете протягивала руки к обнажавшимся его ножкам. А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешанным оружием на пестром персидском ковре, с ореховой мебелью, обитой темно-зеленым трипом, с библиотекой renaissance {в стиле эпохи Возрождения (*франц.*).} из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе, с камином... Он бросился на диван, заложил руки за голову и остался неподвижен, почти с отчаяньем глядя в потолок. Захотел ли он скрыть от самых стен, что у него происходило на лице, по другой ли какой причине, только он встал, отстегнул тяжелые занавески окон и опять бросился на диван.

IX

В тот же день и Базаров познакомился с Фенечкой. Он вместе с Аркадием ходил по саду и толковал ему, почему иные деревца, особенно дубки, не принялись. -- Надо серебристых тополей побольше здесь сажать, да елок, да, пожалуй, липок,

подбавивши чернозему. Вон беседка принялась хорошо, -- прибавил он, -- потому что акация да сирень -- ребята добрые, ухода не требуют. Ба, да тут кто-то есть. В беседке сидела Фенечка с Дуняшей и Митей. Базаров остановился, а Аркадий кивнул головою Фенечке, как старый знакомый. -- Кто это? -- спросил его Базаров, как только они прошли мимо. -- Какая хорошенькая! -- Да ты о ком говоришь? -- Известно о ком: одна только хорошенькая. Аркадий, не без замешательства, объяснил ему в коротких словах, кто была Фенечка. -- Ага! -- промолвил Базаров, -- у твоего отца, видно, губа не дура. А он мне нравится, твой отец, ей-ей! Он молодец. Однако надо познакомиться, -- прибавил он и отправился назад к беседке. -- Евгений! -- с испугом крикнул ему вослед Аркадий, -- осторожней, ради Бога. -- Не волнуйся, -- проговорил Базаров, -- народ мы тертый, в городах живали. Приблизясь к Фенечке, он скинул картуз. -- Позвольте представиться, -- начал он с вежливым поклоном, -- Аркадию Николаевичу приятель и человек смирный. Фенечка приподнялась со скамейки и глядела на него молча. -- Какой ребенок чудесный! -- продолжал

Базаров. -- Не беспокойтесь, я еще никого не сглазил. Что это у него щеки такие красные? Зубки, что ли, прорезаются? -- Да-с, -- промолвила Фенечка, -- четверо зубков у него уже прорезались, а теперь вот десны опять припухли. -- Покажите-ка... да вы не бойтесь, я доктор. Базаров взял на руки ребенка, который, к удивлению и Фенечки и Дуняши, не оказал никакого сопротивления и не испугался. -- Вижу, вижу... Ничего, все в порядке: зубастый будет. Если что случится, скажите мне. А сами вы здоровы? -- Здорова, слава Богу. -- Слава Богу -- лучше всего. А вы? -- прибавил Базаров, обращаясь к Дуняше. Дуняша, девушка очень строгая в хоромах и хохотунья за воротами, только фыркнула ему в ответ. -- Ну и прекрасно. Вот вам ваш богатырь. Фенечка приняла ребенка к себе на руки. -- Как он у вас тихо сидел, -- промолвила она вполголоса. -- У меня все дети тихо сидят, -- отвечал Базаров, -- я такую штуку знаю. -- Дети чувствуют, кто их любит, -- заметила Дуняша. -- Это точно, -- подтвердила Фенечка. -- Вот и Митя, к иному ни за что на руки не пойдет. -- А ко мне пойдет? -- спросил Аркадий, который, постояв некоторое время в

отдалении, приблизился к беседке. Он поманил к себе Митю, но Митя откинул голову назад и запищал, что очень смутило Фенечку. -- В другой раз, когда привыкнуть успеет, -- снисходительно промолвил Аркадий, и оба приятеля удалились. -- Как бишь ее зовут? -- спросил Базаров. -- Фенечкой... Федосьей, -- ответил Аркадий. -- А по батюшке? Это тоже нужно знать. -- Николаевной. -- Bene {Хорошо (*лат.*)}. Мне нравится в ней то, что она не слишком конфузится? Иной, пожалуй, это-то и осудил бы в ней. Что за вздор? чего конфузиться? Она мать -- ну и права. -- Она-то права, -- заметил Аркадий, -- но вот отец мой... -- И он прав, -- перебил Базаров. -- Ну, нет, я не нахожу. -- Видно, лишний наследничек нам не по нутру? -- Как тебе не стыдно предполагать во мне такие мысли! -- с жаром подхватил Аркадий. -- Я не с этой точки зрения почитаю отца неправым; я нахожу, что он должен бы жениться на ней. -- Эге-ге! -- спокойно проговорил Базаров. -- Вот мы какие великодушные! Ты придаешь еще значение браку; я этого от тебя не ожидал. Приятели сделали несколько шагов в молчанье. -- Видел я все заведения твоего отца, -- начал опять

Базаров. -- Скот плохой, и лошади разбитые. Строения тоже подгуляли, и работники смотрят отъявленными ленивцами; а управляющий либо дурак, либо плут, я еще не разобрал хорошенько. -- Строг же ты сегодня, Евгений Васильевич. -- И добрые мужички надуют твоего отца всенепременно. Знаешь поговорку: "Русский мужик бога слопаёт". -- Я начинаю соглашаться с дядей, -- заметил Аркадий, -- ты решительно дурного мнения о русских. -- Эка важность! Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения. Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки. -- И природа пустяки? -- проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные уже невысоким солнцем. -- И природа пустяки в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. Медлительные звуки виолончели долетели до них из дому в это самое мгновение. Кто-то играл с чувством, хотя и неопытною рукою "Ожидание" Шуберта, и медом разливалась по воздуху сладостная мелодия. -- Это что? -- произнес с изумлением Базаров. -- Это отец. -- Твой отец играет на

виолончели? -- Да. -- Да сколько твоему отцу лет? -- Сорок четыре. Базаров вдруг расхохотался. -- Чему же ты смеешься? -- Помилуй! в сорок четыре года человек, *pater familias* {отец семейства (*лат.*)}, в ...м уезде -- играет на виолончели! Базаров продолжал хохотать; но Аркадий, как ни благоговел перед своим учителем, на этот раз даже не улыбнулся.

Х

Прошло около двух недель. Жизнь в Марьино текла своим порядком: Аркадий сибаритствовал, Базаров работал. Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам. Фенечка, в особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, полушутя, полузевая, просидел у ней часа два и помог ребенку. Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова: он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем; он подозревал, что Базаров не уважает его,

что он едва ли не презирает его -- его, Павла Кирсанова! Николай Петрович побаивался молодого "нигилиста" и сомневался в пользе его влияния на Аркадия; но он охотно его слушал, охотно присутствовал при его физических и химических опытах. Базаров привез с собой микроскоп и по целым часам с ним возился. Слуги также привязались к нему, хотя он над ними подтрунивал: они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин. Дуняша охотно с ним хихикала и искоса, значительно посматривала на него, пробегая мимо "перепелочкой"; Петр, человек до крайности самолюбивый и глупый, вечно с напряженными морщинами на лбу, человек, которого все достоинство состояло в том, что он глядел учтиво, читал по складам и часто чистил щеточкой свой сюртучок, -- и тот ухмылялся и светлел, как только Базаров обращал на него внимание; дворовые мальчишки бегали за "дохтуром", как собачонки. Один старик Прокофьич не любил его, с угрюмым видом подавал ему за столом кушанья, называл его "живодером" и "прощелыгой" и уверял, что он с своими бакенбардами -- настоящая свинья в кусте. Прокофьич, по-своему, был

аристократ не хуже Павла Петровича. Наступили лучшие дни в году -- первые дни июня. Погода стояла прекрасная; правда, издали грозила опять холера, но жители ...й губернии успели уже привыкнуть к ее посещениям. Базаров вставал очень рано и отправлялся версты за две, за три, не гулять -- он прогулок без дела терпеть не мог, -- а собирать травы, насекомых. Иногда он брал с собой Аркадия. На возвратном пути у них обыкновенно завязывался спор, и Аркадий обыкновенно оставался побежденным, хотя говорил больше своего товарища. Однажды они как-то долго замешкались; Николай Петрович вышел к ним навстречу в сад и, поравнявшись с беседкой, вдруг услышал быстрые шаги и голоса обоих молодых людей. Они шли по ту сторону беседки и не могли его видеть. -- Ты отца недостаточно знаешь, -- говорил Аркадий. Николай Петрович притаился. -- Твой отец добрый малый, -- промолвил Базаров, -- но он человек отставной, его песенка спета. Николай Петрович приник ухом... Аркадий ничего не отвечал. "Отставной человек" постоял минуты две неподвижно и медленно поплелся домой. -- Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает, -- продолжал между

тем Базаров. -- Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать. -- Что бы ему дать? -- спросил Аркадий. -- Да, я думаю, Бюхнерово "Stoff und Kraft" {"Материя и сила" (нем.).} на первый случай. -- Я сам так думаю, -- заметил одобрительно Аркадий. -- "Stoff und Kraft" написано популярным языком... -- Вот как мы с тобой, -- говорил в тот же день после обеда Николай Петрович своему брату, сидя у него в кабинете, -- в отставные люди попали, песенка наша спета. Что ж? Может быть, Базаров и прав; но мне, признаюсь, одно больно: я надеялся именно теперь тесно и дружески сойтись с Аркадием, а выходит, что я остался назади, он ушел вперед, и понять мы друг друга не можем. -- Да почему он ушел вперед? И чем он от нас так уж очень отличается? -- с нетерпением воскликнул Павел Петрович. -- Это все ему в голову синьор этот вбил, нигилист этот. Ненавижу я этого лекаришку; по-моему, он просто шарлатан; я уверен, что со всеми своими лягушками он и в физике недалеко ушел. -- Нет, брат, ты этого не говори: Базаров

умен и знающ. -- И самолюбие какое противное, -- перебил опять Павел Петрович. -- Да, -- заметил Николай Петрович, -- он самолюбив. Но без этого, видно, нельзя; только вот чего я в толк не возьму. Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века: крестьян устроил, ферму завел, так что даже меня во всей губернии красным величают; читаю, учусь, вообще стараюсь стать в уровень с современными требованиями, -- а они говорят, что песенка моя спета. Да что, брат, я сам начинаю думать, что она точно спета. -- Это почему? -- А вот почему. Сегодня я сижу да читаю Пушкина... помнится, "Цыгане" мне попались... Вдруг Аркадий подходит ко мне и молча, с таким ласковым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мной другую, немецкую... улыбнулся, и ушел, и Пушкина унес. -- Вот как! Какую же он книгу тебе дал? -- Вот эту. И Николай Петрович вынул из заднего кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера, девятого издания. Павел Петрович повертел ее в руках. -- Гм! -- промычал он. -- Аркадий Николаевич заботится о твоём воспитании. Что ж, ты пробовал читать? -- Пробовал. -- Ну и что же? -- Либо я глуп, либо это

все -- вздор. Должно быть, я глуп. -- Да ты по-немецки не забыл? -- спросил Павел Петрович. -- Я по-немецки понимаю. Павел Петрович опять повертел книгу в руках и исподлобья взглянул на брата. Оба помолчали. -- Да, кстати, -- начал Николай Петрович, видимо желая переменить разговор. -- Я получил письмо от Колязина. -- От Матвея Ильича? -- От него. Он приехал в *** ревизовать губернию. Он теперь в тузы вышел и пишет мне, что желает, по-родственному, повидаться с нами и приглашает нас с тобой и с Аркадием в город. -- Ты поедешь? -- спросил Павел Петрович. -- Нет; а ты? -- И я не поеду. Очень нужно тащиться за пятьдесят верст киселя есть. Mathieu хочет показаться нам во всей своей славе; черт с ним! будет с него губернского фимиама, обойдется без нашего. И велика важность, тайный советник! Если б я продолжал служить, тянуть эту глупую лямку, я бы теперь был генерал-адъютантом. Притом же мы с тобой отставные люди. -- Да, брат; видно, пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди, -- заметил со вздохом Николай Петрович. -- Ну, я так скоро не сдамся, -- пробормотал его брат. -- У нас еще будет схватка с этим

лекарем, я это предчувствую. Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел Петрович сошел в гостиную уже готовый к бою, раздраженный и решительный. Он ждал только предложения, чтобы накинуться на врага; но предложение долго не представлялось. Базаров вообще говорил мало в присутствии "старичков Кирсановых" (так он называл обоих братьев), а в тот вечер он чувствовал себя не в духе и молча выпивал чашку за чашкой. Павел Петрович весь горел нетерпением; его желания сбылись наконец. Речь зашла об одном из соседних помещиков. "Дрянь, аристократишко", -- равнодушно заметил Базаров, который встречался с ним в Петербурге. -- Позвольте вас спросить, -- начал Павел Петрович, и губы его задрожали, -- по вашим понятиям слова: "дрянь" и "аристократ" одно и то же означают? -- Я сказал: "аристократишко", -- проговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток чаю. -- Точно так-с: но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс; но именно потому я уважаю

аристократов -- настоящих. Вспомните, милостивый государь (при этих словах Базаров поднял глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь, -- повторил он с ожесточением, -- английских аристократов. Они не уступают йоты от прав своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют свои обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее. -- Слыхали мы эту песню много раз, -- возразил Базаров, -- но что вы хотите этим доказать? -- Я эфтим хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: "эфтим" и "эфто", хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли одни -- эфто, другие -- эхто: мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами), я эфтим хочу доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе, -- а в

аристократе эти чувства развиты, -- нет никакого прочного основания общественному... *bien public* {общественному благу (*франц.*)}, общественному зданию. Личность, милостивый государь, -- вот главное: человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность наконец, но это все проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека. -- Позвольте, Павел Петрович, -- промолвил Базаров, -- вы вот уважаете себя и сидите сложа руки; какая ж от этого польза для *bien public*? Вы бы не уважали себя и то же бы делали. Павел Петрович побледнел. -- Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм -- принцип, а без принципов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди. Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и повторяю теперь вам. Не так ли,

Николай? Николай Петрович кивнул головой. -- Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, -- говорил между тем Базаров, -- подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны. -- Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне человечества, вне его законов. Помилуйте -- логика истории требует... -- Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся. -- Как так? -- Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей! Павел Петрович взмахнул руками. -- Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно не признавать принципов, правил! В силу чего же вы действуете? -- Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаем авторитетов, -- вмешался Аркадий. -- Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным, -- промолвил Базаров. -- В теперешнее время полезнее всего отрицание -- мы отрицаем. -- Все? -- Все. -- Как? не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить... -- Все, -- с невыразимым спокойствием повторил Базаров. Павел Петрович уставился на него. Он этого не ожидал, а Аркадий даже покраснел от удовольствия.

-- Однако позвольте, -- заговорил Николай Петрович. -- Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете... Да ведь надобно же и строить. -- Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить. -- Современное состояние народа этого требует, -- с важностью прибавил Аркадий, -- мы должны исполнять эти требования, мы не имеем права предаваться удовлетворению личного эгоизма. Эта последняя фраза, видимо, не понравилась Базарову; от нее веяло философией, то есть романтизмом, ибо Базаров и философию называл романтизмом; но он не почел за нужное опровергать своего молодого ученика.

-- Нет, нет! -- воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович, -- я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его стремлений! Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он -- патриархальный, он не может жить без веры... -- Я не стану против этого спорить, -- перебил Базаров, -- я даже готов согласиться, что в этом вы правы. -- А если я прав... -- И все-таки это ничего не доказывает. -- Именно ничего не доказывает, -- повторил Аркадий с уверенностью опытного

шахматного игрока, который предвидел опасный, по-видимому, ход противника и потому нисколько не смутился. -- Как ничего не доказывает? -- пробормотал изумленный Павел Петрович. -- Стало быть, вы идете против своего народа? -- А хоть бы и так? -- воскликнул Базаров. -- Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья-пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне соглашаться с ним? Да притом -- он русский, а разве я сам не русский. -- Нет, вы не русский после всего, что вы сейчас сказали! Я вас за русского признать не могу. -- Мой дед землю пахал, -- с надменною гордостью отвечал Базаров. -- Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас -- в вас или во мне -- он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете. -- А вы говорите с ним и презираете его в то же время. -- Что ж, коли он заслуживает презрения! Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете? -- Как же! Очень нужны нигилисты! -- Нужны ли они или нет -- не нам решать. Ведь и вы считаете себя не бесполезным. -- Господа, господа, пожалуйста, без личностей! --

воскликнул Николай Петрович и приподнялся. Павел Петрович улыбнулся и, положив руку на плечо брату, заставил его снова сесть. -- Не беспокойся, -- промолвил он. -- Я не позабудусь именно вследствие того чувства достоинства, над которым так жестоко трунит господин... господин доктор. Позвольте, -- продолжал он, обращаясь снова к Базарову, -- вы, может быть, думаете, что ваше учение новость? Напрасно вы это воображаете. Материализм, который вы проповедуете, был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным... -- Опять иностранное слово! -- перебил Базаров. Он начинал злиться, и лицо его приняло какой-то медный и грубый цвет. -- Во-первых, мы ничего не проповедуем; это не в наших привычках... -- Что же вы делаете? -- А вот что мы делаем. Прежде, в недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда... -- Ну да, да, вы обличители, -- так, кажется, это называется. Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но... -- А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству;

мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке. -- Так, -- перебил Павел Петрович, -- так: вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезно не приниматься. -- И решились ни за что не приниматься, -- угрюмо повторил Базаров. Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином. -- А только ругаться? -- И ругаться. -- И это называется нигилизмом? -- И это называется нигилизмом, -- повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью. Павел Петрович слегка прищурился. -- Так вот как! -- промолвил он странно

спокойным голосом. -- Нигилизм всему горю помочь должен, и вы, вы наши избавители и герои. Но за что же вы других-то, хоть бы тех же обличителей, честите? Не так же ли вы болтаете, как и все? -- Чем другим, а этим грехом не грешны, -- произнес сквозь зубы Базаров. -- Так что ж? вы действуете, что ли? Собираетесь действовать? Базаров ничего не отвечал. Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел собою. -- Гм!.. Действовать, ломать... -- продолжал он. -- Но как же это ломать, не зная даже почему? -- Мы ломаем, потому что мы сила, -- заметил Аркадий. Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся. -- Да, сила -- так и не дает отчета, -- проговорил Аркадий и выпрямился. -- Несчастный! -- возопил Павел Петрович; он решительно не был в состоянии крепиться долее, -- хоть бы ты подумал, что в России ты поддерживаешь твоею пошлою сентенцией! Нет, это может ангела из терпения вывести! Сила! И в диком калмыке, и в монголе есть сила -- да на что нам она? Нам дорога цивилизация, да-с, да-с, милостивый государь, нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ничтожны: последний пачкун, ип barbouilleur, тот же, которому

дают пять копеек за вечер, и те полезнее вас, потому что они представители цивилизации, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть! Сила! Да вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего четыре человека с половиною, а тех -- миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас! -- Коли раздавят, туда и дорога, -- промолвил Базаров. -- Только бабушка еще надвое сказала. Нас не так мало, как вы полагаете. -- Как? Вы не шутя думаете сладить, сладить с целым народом? -- От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела, -- ответил Базаров. -- Так, так. Сперва гордость почти сатанинская, потом глумление. Вот, вот чем увлекается молодежь, вот чему покоряются неопытные сердца мальчишек! Вот, поглядите, один из них рядом с вами сидит, ведь он чуть не молится на вас, полюбуйте. (Аркадий отворотился и нахмурился.) И эта зараза уже далеко распространилась. Мне сказывали, что в Риме наши художники в Ватикан ни ногой. Рафаэля считают чуть не дураком, потому что это, мол, авторитет; а сами бессильны и

бесплодны до гадости, а у самих фантазия дальше "Девушки у фонтана" не хватает, хоть ты что! И написана-то девушка прескверно. По-вашему, они молодцы, не правда ли? -- По-моему, -- возразил Базаров. -- Рафаэль гроша медного не стоит, да и они не лучше его. -- Браво! браво! Слушай, Аркадий... вот как должны современные молодые люди выражаться! И как, подумаешь, им не идти за вами! Прежде молодым людям приходилось учиться; не хотелось им прослыть за невежд, так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать: все на свете вздор! -- и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались. И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты. -- Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства, -- флегматически заметил Базаров, между тем как Аркадий весь вспыхнул и засверкал глазами. -- Спор наш зашел слишком далеко... Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готов согласиться с вами, -- прибавил он, вставая, -- когда вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и

беспощадного отрицания. -- Я вам миллионы таких постановлений представлю, -- воскликнул Павел Петрович, -- миллионы! Да вот хоть община, например. Холодная усмешка скривила губы Базарова. -- Ну, насчет общины, -- промолвил он, -- поговорите лучше с вашим братцем. Он теперь, кажется, изведаль на деле, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобные штучки. -- Семья наконец, семья, так, как она существует у наших крестьян! -- закричал Павел Петрович. -- И этот вопрос, я полагаю, лучше для вас же самих не разбирать в подробности. Вы, чай, слыхали о снохачах? Послушайте меня, Павел Петрович, дайте себе денька два сроку, сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите все наши сословия да подумайте хорошенько над каждым, а мы пока с Аркадием будем... -- Надо всем глумиться, -- подхватил Павел Петрович. -- Нет, лягушек резать. Пойдем, Аркадий; до свидания, господа. Оба приятеля вышли. Братья остались наедине и сперва только посматривали друг на друга. -- Вот, -- начал наконец Павел Петрович, -- вот вам нынешняя молодежь! Вот они -- наши наследники! -- Наследники, -- повторил с

унылым вздохом Николай Петрович. Он в течение всего спора сидел как на углях и только украдкой болезненно взглядывал на Аркадия. -- Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с покойницей матушкой поссорился: она кричала, не хотела меня слушать... Я наконец сказал ей, что вы, мол, меня понять не можете; мы, мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал: что делать? Пилюля горька -- а проглотить ее нужно. Вот теперь настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам: вы мол, не нашего поколения, глотайте пилюлю. -- Ты уже чересчур благодушен и скромн, -- возразил Павел Петрович, -- я, напротив, уверен, что мы с тобой гораздо правее этих господчиков, хотя выражаемся, может быть, несколько устарелым языком, *vieilh*, и не имеем той дерзкой самонадеянности... И такая надутая эта нынешняя молодежь! Спросишь иного: какого вина вы хотите, красного или белого? "Я имею привычку предпочитать красное!" -- отвечает он басом и с таким важным лицом, как будто вся вселенная глядит на него в это мгновение... -- Вам больше чаю не угодно? -- промолвила Фенечка, просунув голову в дверь: она не решалась

войти в гостиную, пока в ней раздавались голоса споривших. -- Нет, ты можешь велеть самовар принять, -- отвечал Николай Петрович и поднялся к ней навстречу. Павел Петрович отрывисто сказал ему: bon soir {добрый вечер (франц.)}, и ушел к себе в кабинет.

XI

Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку. На него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое разъединение с сыном; он предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало быть, напрасно он, бывало, зимою в Петербурге по целым дням просиживал над новейшими сочинениями; напрасно прислушивался к разговорам молодых людей; напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и свое слово в их кипучие речи. "Брат говорит, что мы правы, -- думал он, -- и, отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы, а в то же время я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имеем, какое-то

преимущество над нами... Молодость? Нет: не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас?" Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу. "Но отвергать поэзию? -- подумал он опять, -- не сочувствовать художеству, природе?.." И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в полверсте от сада: тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Мужичок ехал рысцей на белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой рощи; он весь был ясно виден, весь, до заплаты на плече, даром что ехал в тени; приятно-отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи с своей стороны забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко; ветер совсем замер; запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени; мошки толклись столбом над

одинокую, далеко протянутою веткою. "Как хорошо, Боже мой!" -- подумал Николай Петрович, и любимые стихи пришли было ему на уста; он вспомнил Аркадия, Stoff und Kraft -- и умолк, но продолжал сидеть, продолжал предаваться горестной и отрадной игре одиноких дум. Он любил помечтать; деревенская жизнь развила в нем эту способность. Давно ли он так же мечтал, поджидая сына на постоялом двореке, а с тех пор уже произошла перемена, уже определились, тогда еще неясные, отношения... и как! Представилась ему опять покойница жена, но не такую, какою он ее знал в течение многих лет, не домовитою, доброю хозяйкою, а молодою девушкой с тонким станом, невинно-пытливым взглядом и туго закрученною косой над детскою шейкой. Вспомнил он, как он увидал ее в первый раз. Он был тогда еще студентом. Он встретил ее на лестнице квартиры, в которой он жил, и, нечаянно толкнув ее, обернулся, хотел извиниться и только мог пробормотать: "Pardon, monsieur" {Извините, сударь (франц.)}, -- а она наклонила голову, усмехнулась и вдруг как будто испугалась и побежала, а на повороте лестницы быстро взглянула на него, приняла

серьезный вид и покраснела. А потом первые робкие посещения, полуслова, полуулыбки, и недоумение, и грусть, и порывы, и, наконец, эта задыхающаяся радость... Куда это все умчалось? Она стала его женой, он был счастлив, как немногие на земле... "Но, -- думал он, -- те сладостные, первые мгновенья, отчего бы не жить им вечною, неумирающею жизнью?" Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память; ему хотелось вновь осязать близость своей Марии, ощутить ее теплоту и дыхание, и ему уже чудилось, как будто над ним... -- Николай Петрович, -- раздался вблизи его голос Фенечки, -- где вы? Он вздрогнул. Ему не стало ни больно, ни совестно... Он не допускал даже возможности сравнения между женой и Фенечкой, но он пожалел о том, что она вздумала его отыскивать. Ее голос разом напомнил ему: его седые волосы, его старость, его настоящее... Волшебный мир, в который он уже вступал, который уже возникал из туманных волн прошедшего, шевельнулся -- и исчез. -- Я здесь, -- отвечал он, -- я приду,

ступай. -- "Вот они, следы-то барства", -- мелькнуло у него в голове. Фенечка молча заглянула к нему в беседку и скрылась, а он с изумлением заметил, что ночь успела наступить с тех пор, как он замечтался. Все потемнело и затихло кругом, и лицо Фенечки скользнуло перед ним, такое бледное и маленькое. Он приподнялся и хотел возвратиться домой; но размягченное сердце не могло успокоиться в его груди, и он стал медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себе под ноги, то поднимая глаза к небу, где уже роились и перемигивались звезды. Он ходил много, почти до усталости, а тревога в нем, какая-то ищущая, неопределенная, печальная тревога, все не унималась. О, как Базаров посмеялся бы над ним, если б он узнал, что в нем тогда происходило! Сам Аркадий осудил бы его. У него, у сорокачетырехлетнего человека, агронома и хозяина, навертывались слезы, беспричинные слезы; это было во сто раз хуже виолончели. Николай Петрович продолжал ходить и не мог решиться войти в дом, в это мирное и уютное гнездо, которое так приветно глядело на него всеми своими освещенными окнами; он не в силах был расстаться с темнотой,

с садом, с ощущением свежего воздуха на лице и с этою грустию, с этою тревогой... На повороте дорожки встретился ему Павел Петрович. -- Что с тобой? -- спросил он Николая Петровича, -- ты бледен, как привиденье; ты нездоров; отчего ты не ложишься? Николай Петрович объяснил ему в коротких словах свое душевное состояние и удалился. Павел Петрович дошел до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа... -- Знаешь ли что? -- говорил в ту же ночь Базаров Аркадию. -- Мне в голову пришла великолепная мысль. Твой отец сказывал сегодня, что он получил приглашение от этого вашего знатного родственника. Твой отец не поедет; махнем-ка мы с тобой в ***; ведь этот господин и тебя зовет. Вишь какая сделалась здесь погода; а мы прокатимся, город посмотрим. Поболтаемся дней пять-шесть, и баста! -- А оттуда ты вернешься сюда? -- Нет, надо к отцу проехать. Ты знаешь, он от *** в тридцати верстах. Я его давно не видал, и мать тоже;

надо стариков потешить. Они у меня люди хорошие, особенно отец: презабавный. Я же у них один. -- И долго ты у них пробудешь? -- Не думаю. Чай, скучно будет. -- А к нам на возвратном пути заедешь? -- Не знаю... посмотрю. Ну, так, что ли? Мы отправимся? -- Пожалуй, -- лениво заметил Аркадий. Он в душе очень обрадовался предложению своего приятеля, но почел обязанностью скрыть свое чувство. Недаром же он был нигилист! На другой день он уехал с Базаровым в ***. Молодежь в Марьине пожалела об их отъезде; Дуняша даже всплакнула... но старичкам вздохнулось легко.



Краткое содержание романа.

20 мая 1859 г. Николай Петрович Кирсанов, сорокатрехлетний, но уже немолодой с виду помещик, волнуясь, ожидает на постоялом дворе своего сына Аркадия, который только что окончил университет.

Николай Петрович был сыном генерала, но предназначенная ему военная карьера не состоялась (он в молодости сломал ногу и на всю жизнь остался «хроменьким»). Николай Петрович рано женился на дочке незначительного чиновника и был счастлив в браке. К его глубокому горю, супруга в 1847 г. скончалась. Все свои силы и время он посвятил воспитанию сына, даже в Петербурге жил вместе с ним и старался сблизиться с товарищами сына, студентами. Последнее время он усиленно занялся преобразованием своего имения.

Наступает счастливый миг свидания. Однако Аркадий появляется не один: с ним высокий, некрасивый и самоуверенный молодой человек, начинающий доктор, согласившийся погостить у Кирсановых.

Зовут его, как он сам себя аттестует, Евгений Васильевич Базаров. Разговор отца с сыном на первых порах не клеится. Николая Петровича смущает Фенечка, девушка, которую он содержит при себе и от которой уже имеет ребёнка. Аркадий снисходительным тоном (это слегка коробит отца) старается сгладить возникшую неловкость.

Дома их ждёт Павел Петрович, старший брат отца. Павел Петрович и Базаров сразу же начинают ощущать взаимную антипатию. Зато дворовые мальчишки и слуги гостю охотно подчиняются, хотя он вовсе и не думает искать их расположения.

Уже на следующий день между Базаровым и Павлом Петровичем происходит словесная стычка, причём её инициатором является Кирсанов-старший. Базаров не хочет полемизировать, но все же высказывается по главным пунктам своих убеждений. Люди, по его представлениям, стремятся к той или иной цели, потому что испытывают различные «ощущения» и хотят добиться «пользы».

Базаров уверен, что химия важнее искусства, а в науке важнее всего практический результат. Он даже гордится отсутствием у него «художественного смысла» и полагает, что изучать психологию отдельного индивидуума незачем: «Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других». Для Базарова не существует ни одного «постановления в современном нашем быту... которое бы не вызвало полного и беспощадного отрицания». О собственных способностях он высокого мнения, но своему поколению отводит роль не созидательную — «сперва надо место расчистить». Павлу Петровичу «нигилизм», исповедуемый Базаровым и подражающим ему Аркадием, представляется дерзким и необоснованным учением, которое существует «в пустоте».

Аркадий старается как-то сгладить возникшее напряжение и рассказывает другу историю жизни Павла Петровича. Он был блестящим и многообещающим офицером, любимцем женщин, пока не встретил светскую львицу княгиню Р*. Страсть эта совершенно изменила существование Павла Петровича,

и, когда роман их закончился, он был полностью опустошён. От прошлого он сохраняет лишь изысканность костюма и манера да предпочтение всего английского.

Взгляды и поведение Базарова настолько раздражают Павла Петровича, что он вновь атакует гостя, но тот довольно легко и даже снисходительно разбивает все «силлогизмы» противника, направленные на защиту традиций. Николай Петрович стремится смягчить спор, но и он не может во всем согласиться с радикальными высказываниями Базарова, хотя и убеждает себя, что они с братом уже отстали от жизни. Молодые люди отправляются в губернский город, где встречаются с «учеником» Базарова, отпрыском откупщика, Ситниковым. Ситников ведёт их в гости к «эмансипированной» даме, Кукшиной. Ситников и Кукшина принадлежат к тому разряду «прогрессистов», которые отвергают любые авторитеты, гонясь за модой на «свободомыслие». Они ничего толком не знают и не умеют, однако в своём «нигилизме» оставляют далеко за собой и Аркадия, и Базарова. Последний Ситникова откровенно

презирает, а у Кукшиной «занимается больше шампанским». Аркадий знакомит друга с Одинцовой, молодой, красивой и богатой вдовой, которой Базаров сразу же заинтересовывается. Интерес этот отнюдь не платонический. Базаров цинично говорит Аркадию: «Пожива есть...»

Аркадию кажется, что он влюблён в Одинцову, но это чувство напускное, тогда как между Базаровым и Одинцовой возникает взаимное тяготение, и она приглашает молодых людей погостить у неё.

В доме Анны Сергеевны гости знакомятся с её младшей сестрой Катей, которая держится скованно. И Базаров чувствует себя не в своей тарелке, он на новом месте начал раздражаться и «глядел сердито». Аркадию тоже не по себе, и он ищет утешения в обществе Кати. Чувство, внушённое Базарову Анной Сергеевной, ново для него; он, так презиравший всякие проявления «романтизма», вдруг обнаруживает «романтика в самом себе». Базаров объясняется с Одинцовой, и хотя та не тотчас же освободилась от его объятий, однако, подумав,

она приходит к выводу, что «спокойствие <...> лучше всего на свете».

Не желая стать рабом своей страсти, Базаров уезжает к отцу, уездному лекарю, живущему неподалёку, и Одинцова не удерживает гостя. В дороге Базаров подводит итог происшедшему и говорит: «...Лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. Это всё <...> вздор».

Отец и мать Базарова не могут надышаться на своего ненаглядного «Енюшу», а он скучает в их обществе. Уже через пару дней он покидает родительский кров, возвращаясь в имение Кирсановых.

От жары и скуки Базаров обращает внимание на Фенечку и, застав её одну, крепко целует молодую женщину. Случайным свидетелем поцелуя становится Павел Петрович, которого до глубины души возмущает поступок «этого волосатого». Он особенно негодует ещё и потому, что ему кажется: в Фенечке есть что-то общее с княгиней Р*.

Согласно своим нравственным убеждениям, Павел Петрович вызывает Базарова на поединок. Чувствуя себя неловко и, понимая, что поступается принципами, Базаров соглашается стреляться с Кирсановым-старшим («С теоретической точки зрения дуэль — нелепость; ну, а с практической точки зрения — это дело другое»).

Базаров слегка ранит противника и сам подаёт ему первую помощь. Павел Петрович держится хорошо, даже подшучивает над собой, но при этом и ему и Базарову неловко. Николай Петрович, от которого скрыли истинную причину дуэли, также ведёт себя самым благородным образом, находя оправдание для действий обоих противников.

Последствием дуэли становится и то, что Павел Петрович, ранее решительно возражавший против женитьбы брата на Фенечке, теперь сам уговаривает Николая Петровича совершить этот шаг. И у Аркадия с Катей устанавливается гармоничное взаимопонимание. Девушка проницательно замечает, что Базаров для них — чужой, потому что «он хищный, а мы с вами

ручные».

Окончательно потерявший надежду на взаимность Одинцовой Базаров перелаживает себя и расстаётся с ней и Аркадием. На прощание он говорит бывшему товарищу: «Ты славный малый, но ты все-таки мякенький, либеральный бариш...» Аркадий огорчён, но довольно скоро утешается обществом Кати, объясняется ей в любви и уверяется, что тоже любим. Базаров же возвращается в родительские пенаты и старается забыться в работе, но через несколько дней «лихорадка работы с него соскочила и заменилась тоскливою скукой и глухим беспокойством». Пробует он заговаривать с мужиками, однако ничего, кроме глупости, в их головах не обнаруживает. Правда, и мужики видят в Базарове что-то «вроде шута горохового». Практикуясь на трупе тифозного больного, Базаров ранит себе палец и получает заражение крови. Через несколько дней он уведомляет отца, что, по всем признакам, дни его сочтены. Перед смертью Базаров просит Одинцову приехать и попрощаться с ним. Он напоминает ей о своей любви

и признается, что все его гордые помыслы, как и любовь, пошли прахом. «А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет... Все равно: вилять хвостом не стану». С горечью говорит он, что не нужен России. «Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник...» Когда Базарова по настоянию родителей причащают, «что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвевшем лице».

Проходит шесть месяцев. В небольшой деревенской церкви венчаются две пары: Аркадий с Катей и Николай Петрович с Фенечкой. Все были довольны, но что-то в этом довольстве ощущалось и искусственное, «точно все согласились разыграть какую-то простодушную комедию».

Со временем Аркадий становится отцом и рьяным хозяином, и в результате его усилий имение начинает приносить значительный доход. Николай Петрович принимает на себя обязанности мирового посредника и усердно трудится на общественном поприще. Павел Петрович проживает в Дрездене и, хотя по-прежнему выглядит джентльменом,

«жить ему тяжело».

Кукшина обитает в Гейдельберге и якшается со студентами, изучает архитектуру, в которой, по её словам, она открыла новые законы. Ситников женился на княжне, им помыкающей, и, как он уверяет, продолжает «дело» Базарова, подвизаясь в роли публициста в каком-то тёмном журнальчике.

На могилу Базарова часто приходят дряхлые старички и горько плачут и молятся за упокой души безвременно усопшего сына. Цветы на могильном холмике напоминают не об одном спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...